

Николай Серый

# Рай одичания

Роман, повести, драмы  
и новеллы

**Николай Серый**  
**Рай одичания. Роман,**  
**повести, драмы и новеллы**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=30083953](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=30083953)*

*ISBN 9785449052681*

**Аннотация**

Психологический роман о творчестве и власти. Повести о сущности человека. Драмы о политике и любви. Психологические новеллы.

# Содержание

РАЙ ОДИЧАНИЯ	6
Часть первая	7
1	7
2	8
3	11
4	15
5	18
6	26
7	29
8	34
9	38
10	40
11	47
12	51
Конец первой части	57
Часть вторая	58
1	58
2	68
3	75
4	82
5	86
6	91
7	94

8	100
9	102
10	106
11	109
12	112
13	113
14	127
15	130
16	139
17	145
18	149
19	158
Конец ознакомительного фрагмента.	161

**Рай одичания**  
**Роман, повести,**  
**драмы и новеллы**

**Николай Серый**

© Николай Серый, 2018

ISBN 978-5-4490-5268-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# РАЙ ОДИЧАНІЯ

# Часть первая

## 1

Уютный ресторан открылся в густом саду у моря, и там оказались чудесные повара и музыканты, и были служанки и юркими и милыми, и только одарённой юной пианистки, умеющей петь, пока не хватало черноволосой женщине, бледной и тонкой, с большими зелёными глазами и пухленьким алым ртом. Слыла она красавицей и звалась Кирой; она и владела рестораном. Была у неё и дочка; о своём бывшем муже Кира говорила, что никогда не любила его, но всегда искренне уважала.

В декабре розовым сухим утром Кира в холмистом парке возле бронзовой нимфы беседовала с девушкой в алом плаще. Кира черты её лица определила как утончённо-эротические. Девушка звалась Лизой, и цвет её густых, длинных и золотистых волос был естественный; лицо и ресницы её не знали косметики, а рот и без помады ал. Нужная Кире пианистка нашлась, наконец, для ресторана.

## 2

Кира была дочерью профессора-медика и балерины, малоизвестной, но очень красивой. Профессор был на двадцать лет старше балерины, циничной и весёлой. Он женился по любви, но быстро понял, что юной супруге нужен не он сам, а его доходы, дача, квартира и коллекция старинного серебра и фарфора. Вскоре после рождения дочери профессор помер от разрыва сердца на даче. По его завещанию всё наследовала Кира; мать её стала опекуном. Через пару лет коллекция профессора уменьшилась наполовину. Балерина жила сладострастно и нервно, но дочь по-своему любила: Кира всегда одевалась лучше своих подружек, и карманных денег у неё было в избытке. Наконец, брошенная любовником стареющая красавица вскрыла себе вены на даче, где в юности нашла мёртвого мужа в ванне. Кира ненавидела эту дачу и решила продать её родному брату своего будущего мужа. К тому времени Кира едва успела окончить среднюю школу. Будущий муж Киры был видным коллекционером, доктором искусствоведения, купцом и лет на двадцать старше её. Он выведал всё о предполагаемой сделке, когда брат пришёл к нему занимать деньги. Весьма заинтересованный затеваемой куплей искусствовед нашёл способ познакомиться не только с Кирой, но и с её имуществом. Решив на ней жениться, он не позволил братцу облапошить свою будущую

невесту. Искусствовед женился на Кире через неделю после знакомства с нею; остатки коллекции отца её дополнили собрание ценностей мужа. Затем он занялся воспитанием своей сирой жены. Он пенял на её громкие речи и смех, неправильные фразы и малейший беспорядок в квартире. Ему нравилось унижать Киру, в то время ещё очень ранимую, но он понимал, что ему следует оплачивать её нравственные страдания, иначе она разведётся с ним и потребует раздела имущества. Поэтому он позволил Кире великолепно одеваться, носить редчайшие украшения из его коллекции и пользоваться одной из его машин. Сначала Кира надеялась, что умение держать себя наедине с мужем и на людях умерит число скандалов, и поэтому научилась она вести себя так, что ему не к чему было придраться. Однако ему не хотелось лишиться удовольствия унижать её, и он, перестав издеваться над её манерами и речами, стал корить её за невежество в искусстве и литературе. Наконец Кира спросила себя: почему она терпит всё это? Первый ответ, который она себе дала, был правдив. Она призналась себе в том, что терпит она глумления мужа только ради возможности хвастаться своими нарядами, машиной и драгоценностями. Но было слишком неприятно думать о себе такое, и вскоре мысли её изменились. Она о себе стала думать, как о поклоннице искусства, способной снести, ради любви к нему, любые обиды... Квартира их была переполнена редчайшими книгами и записями дивной музыки, и Кира сумела убедить

себя в том, что только здесь она сможет хорошенько изучить эстетику, и вот, чтобы иметь основание думать о себе, как о почитательнице искусства, способной стерпеть, ради любви к нему, любые напасти и распри, она стала читать и слушать. Стихи и проза декадентов уверили её в том, что пороки сладостны; она познала радость мучить своего мужа, ибо, когда она забеременела, он, не желая ребёнка, впервые унизился до просьб. Кира иногда спрашивала себя: не благодаря ли удовольствию, которое она испытывала, отказывая мужу прервать беременность, и родилась их дочь? Наконец, явила она такой образец утончённого эгоизма, что даже супруг её, весьма ошарашенный, стал учтивее...

Через год после рождения дочери Кира изъявила желанье работать, и супруг приискал ей завидное место, где она преуспела. И едва она поняла, что теперь она может обеспечить себя и без помощи мужа, она ему изменила, почти не таясь. После докучливых свар и дележа они развелись...

После развода поселилась она с дочерью на побережье и сумела в себя влюбить городского главу. Он и помог ей купить за бесценок здание, построенное на деньги казны его собственной женою, которая здесь была главным архитектором. И теперь нанималась их дочь Лиза в ресторан Киры пианисткой...

### 3

Олегу Ильичу Воронкову позволили стать главою города после памятной ночи на зимней даче у своего нового, упорным трудом обретённого покровителя...

За огромными чистыми стёклами зимней веранды, обогретой жаром поленьев в камине, виднелся вечерний сад с причудливыми тенями и наядами, усыпанными снегом; дальняя неровная кайма леса по обе стороны от заходящего солнца уже темнела и сливалась с чёрным морозным небом. На даче было спокойно и тихо, но Воронков сладко томился, предвкушая минуту, когда будет дана воля инстинктам, тщательно скрываемым доньше. Он сидел в покойном глубоком кресле и, любуясь своим отражением в зеркале, витийствовал горячо и сладострастно:

– Более всего люблю я в ресторанах эту жгучую кондовую Русь, лихую проворность прислуги, великолепии убранства и знойный цыганский хор. Мне нравится в кабаках нечто от Блока, от его снежных масок и метелей, его разгула и хмельного ропота...

– Верно, – согласился бледный и грузный собеседник Олега Ильича и искоса на него взглянул. – Говорите.

– По-моему, в ресторанах гораздо больше великорусского, чем даже в храмах и церквях. И не жалуя я дешёвенькие трактиры, где, правда, очень мило, но где вас не охватывает

тоска по чему-то древне-могучему: по шалой благочинности в кутеже, когда нужно пить и молиться одновременно, а лакеи похожи на причётников, их же начальник – на игумена...

– Мда, недурно, – задумчиво и томно вымолвил собеседник Воронкова. – Но пора ужинать.

Они пошли в столовую, озарённую огромной хрустальной люстрой. Там висели аляповатые пейзажи в старинных узорных рамах, а между ними – высокие зеркала, размалёванные алой губной помадой. Ореховые паркет и мебель были ухожены, а стены оббиты розовым китайским шёлком. Окна были завешены плотной серебристой парчой. Старинный русский фарфор на белой накрахмаленной скатерти восхитил Воронкова; на серебряные ножи и вилки он смотрел с почтением, будто они живые. На середине стола на чёрном блюде из глины лежало сливочное масло, разделанное в виде портрета общего знакомого сотрапезников, намедни осуждённого за взятки, и все охотно лакомились этим маслом. Воронков отведал и это масло, и бледно-жёлтый балык, и пунцовую сёмгу, и молочного поросёнка, и коньяк, и шампанское, а затем, чуть хмельной, залюбовался он своим отражением в зеркале напротив. Он высоко ценил своё холёное волевое лицо, небольшое, но гибкое тело и пепельные волосы без намёка на лысину или седину. Он вожделел к изнеженной нервной брюнетке, сидевшей рядом с ним справа, с залихватской небрежностью пила она шампанское, и колени их часто соприкасались. Он засматривался на следы тёмно-крас-

ной губной помады на её хрустальном бокале. Она отказалась ублажать в ту ночь Воронкова, объяснив ему, что он для утех с нею недостаточно богат и барственен, и он понял, что это было очередным утончённым унижением, которое ему уготовили...

Когда Воронков уже обладал Кирой, он невзлюбил её духи с запахом магнолии: это были духи той женщины на зимней даче. Он хорошо помнил мгновения, когда удручённый отказом той женщины, он шёл спать один и вдруг увидел своего покровителя с любовницей; они жестоко и нервно смотрели ему в лицо и, видя, что затея их удалась, страстно жаллись друг к другу. Воронков понял, какое великое наслаждение они испытывают, и пожелал в будущем испытать такое же; именно поэтому утром он смирил себя, и хоть насмешки над ним были остроумны и язвительны, а женщина, его унижившая, смеялась ему в лицо, он оставался и вкрадчивым, и льстивым; все уверились в его преданности и принялись за него хлопотать. После этой ночи никакое наслаждение не казалось Воронкову полным, если оно никого не мучило, хотя бы совсем немножко...

Воронков и супруге своей изменял, и тщеславился её красотой и дарованьями: жена его была главным зодчим в городе. О здании ресторана, сотворённого ею, все судачили, как о перле. Славная хозяйка, она вкусно стряпала. И была она уважаемой и известной, и Воронков знал, что явный для горожан разрыв с нею чреват поражением на грядущих выбо-

рах. И подарил он ей в трёх кипарисовых ларцах алмазные серьги и кольцо, ожерелье с рубинами и нити с жемчугом. Её дочь была очень похожа на неё...

## 4

Пока Воронков прельщался Кирой, одаривал её и пёкся о ней, его супруга Анастасия и дочь Лиза катались в летних горах в машине...

Вечером они ехали вдоль Зеленчука в Архыз; обе в чёрных брюках и свитерах. Возле двух аланских храмов они остановились и осмотрели их руины. Затем подошли они к реке и глянули в зеленоватую буйную воду. Они стояли среди валунов, чуя запах гнили и мха; им мнились слова кощунством. Рокотала река. Закатные лучи солнца изменили цвет воды, и на миг она стала алой.

– Я чрезвычайно люблю природу, – порывисто молвила дочь, – и презираю банальных, пошлых людей.

– Послушай, девочка, послушай, – проговорила мать, – я очень серьёзна. Порою кажется мне, что живу я только потому, что близкие не хотят моей смерти. И если вдруг пожелают они моей гибели, то я умру и от простой простуды. Тело перестанет противиться смерти и будет даже искать её в тайне от сознания. А люди не хотят, чтоб жили те, кто их презирает.

Возле усадьбы лесника познакомились они с высоким и сильным парнем в чёрных кожаных штанах и куртке; и был он бледен, черноволос, строен и печален; его породистые ноздри порою вздрагивали, а густые брови супились. «Смаз-

ливый витязь, – подумалось Лизе, – но спесив...»

Он учтиво им представился Эмилем; он гостил в усадьбе лесника, своего деда, и вызвался их машину пригнать на его двор. Эмилю вручили ключи, и он исчез...

Они же подошли ко хмурому коренастому мужику в рыжеватом тулупе и зелёном картузе и попросили кров для ночлега; их приютили. Хозяин повёл их наверх, бормоча глухо о своём бескорыстии. Горница их была просторной, с двумя окнами и печкой; пахло сеном и хвоей. Хозяин включил электрическую лампу, и гости осмотрели убранство комнаты: пять огромных стульев в парусиновых чехлах, комод из палисандра, письменный стол из ольхи и две сосновые кровати со стегаными одеялами, тюфяками и свежим бельём из полотна; висела на стропилах рыболовная сеть. На миг появился Эмиль и вернул ключи от машины; затем, улыбаясь, он удалился вместе с дедом. Лиза посмотрела в окно на свою машину у каменного сарая и на лохматого свирепого волкодава возле поленицы дров.

Они, погасив свет, улеглись почивать, и мать, утомлённая за рулём, быстро уснула. Дочь оставалась бодрой и внимала дыханию матери. Наконец, нагая Лиза вылезла из постели и на цыпочках просеменила босиком к распахнутому окну; она ёжилась от холода и смотрела во двор, где возле колодца с журавлём играл Эмиль с собаками. Вскоре на голое тело надела она свои чёрные брюки и свитер, а затем обулась без носков. Она сошла тихо во двор, и к ней устремился Эмиль;

она ему шепнула: «погуляем», и они забрели к реке, к мерцающим лунным перекатам. Прибежали кудлатые псы, и он увлѣк её прочь от них, на поляну со скирдой сена. И вдруг Лизе почудилось, что в её теле заурчал нежный зверѣк с порочной мордочкой и мягкой шерстью. Зверьку захотелось поудобней расположиться в её теле, и она легла в пахучий стог сена. Она смотрела на яркие звѣзды, пока их не засло-нило лицо Эмиля с дрожащими губами...

Затем она выбралась из копны душистого сена и попросила: «Отнеси меня к реке, я окунусь, искупаюсь». Он ей пере-чил: «Но ведь захвораешь, оденься...» Она же капризничала: «В охапку сгребай меня и неси...» И он повиновался ей... Она лежала в реке, ухватившись за корягу, его же знобило. И чем дольше он смотрел на неё, тем сильнее мѣрз. Она, наконец, встала из клокотания струй, и он ринулся к ней; он вынес её из реки мокрый до бѣдер. Он поставил её на трухлявый пенъ и стянул с себя рубашку. Она зябко ерошила ему волосы, пока рубахой он вытирал её. Она проворно оделась, и он её спросил: в каком городе она живѣт? Она отвечала охотно, и в усадьбе они простились с поцелуями...

На рассвете она заметалась в бреду, и мать заспешила до-мой, укутав Лизу в карачаевские шали. Провожал их только лесник с понурой овчаркой. Эмиль не появился, и Лиза по дороге домой даже в лихорадке сердилась на него за это...

## 5

Эмилю почему-то верилось, что природные дарования, исчезая, увлекают в могилу своих обладателей, и раннюю погибель гениев он объяснял потерей ими способности творить. Он и себя считал весьма одарённым и предназначенным судьбою для творчества; и мнилось Эмилю, что именно это спасало его на войне.

Эмиль в боях явил безупречную храбрость и имел награды. После войны он изучал в академии внешней торговли экономику и даже корпел над диссертацией о балканских рынках. И внезапно его заморозили финансовые сделки, и он по биржам мотался, и сутягой прослыл у судейских, и среди политиков шастал, и вдруг разбогател...

Затем захотелось Эмилю написать повесть, и он с напитками и снедью приехал к деду, Ивану Кузьмичу, на глухой кордон.

Была у лесника обширная усадьба, но скотину и птицу он не держал, несмотря на прочные постройки для них и кабелем подведённое кабелем электричество...

Здесь и провёл Эмиль нечаянную ночь с Лизой...

Повесть сочинялась с натугой, и застрял он в самом в начале. Однажды он с утра накачался «Монастырской травницей», а затем сутки марал бумагу, а чтоб вдохновение не упорхнуло, он чарками вливал в себя хмельной мёд.

Эмиль на рассвете завершил свою повесть и рухнул одетый в постель. Проснулся он поздним вечером и включил настольную лампу; затем он ополоснул в лохани лицо и перекусил копчёностями из буфета. Сочиненье своё трезвый Эмиль оценил, как белиберду...

Здесь были и вещуньи в болотных дебрях, и суровый, но праведный колдун, прорицающий в горном вертепе среди виноградных лоз, и схимница-брюзга с хулою и назиданьями...

И вдруг он помыслил о своём странном деде.

У старика не было ни огорода, ни живности, а внука он потчевал и жирными утками с перцем и кореньями, и телятиной, едва ли не во рту тающей, и кроликами с грибами, и форелью, жаренной на углях, и бараниной в соусе с чесноком. У рачительного хозяина оказалось и вино: и тягучее белое с золотым оттенком, и рубиновое с искрой и с горечью осени и полыни.

И смакуя все эти яства, Эмиль не думал, откуда они взялись. И он не ведал, и кто прибирает в доме, и кто стирает бельё и топит парную баню, где он, кряхтя от удовольствия, обливается квасом и хлещет себя веником.

Эмиль, разумеется, встречал людей в усадьбе, но, обременённый написанием повести, вниманья на них не обращал. А были среди них и женщины, но блеклые и сутулые, и мужики угрюмые и степенные, и юнцы суетливо-кичливые...

Он погасил свет и медленно прошёлся по комнате.

И вдруг Эмиль озадачился странным отношением своих родителей к лесному старику: они к нему не ездили и не писали ему. Служили они врачами, и мать Эмиля боялась своего свёкра, и только раз её муж пренебрёг её мнением и съездил-таки в родительское гнездо за деньгами на покупку машины, в которой они оба и погибли. Старик на погребенье не ездил, но принялся письмами усердно зазывать внука к себе...

Ещё Эмиль в темноте думал о своих снах, охальных и диких в этой усадьбе: он резал глотки бородачам, он кидал их со скалы и топил в реке, он терзал белую нежную плоть ногтями и сёк кнутом девочек, распаяясь судорогами каждой жертвы...

В своём обычном чёрном одеянии вышел он во двор, где собаки, выскочив из будок своих, умильно облизывали Эмилю ладони и норовили положить передние лапы ему на плечи. Он тормошил и гладил псов, они же благодарно скулили. Ночь оказалась чрезвычайно светлой, и вспомнилась ему вдруг легенда, где упыри превращались в лунные лучи. Собаки вдруг перестали повизгивать и только шало лизали ему руки. И вдруг он заметил зиянье растворенной двери в подвал и подошёл к ней. За ним потрусил псы, они тихо рычали и обнажали клыки. Из подвала точился дурманый запах. Эмиль спустился по склизким замшелым ступеням и оказался перед ещё одной дверью. Запах дурмана всё сильнее бередил его ноздри. Эмиль всполошёно оглянулся: около верх-

ней двери стояли, ощерясь, псы, и хотя они скалились, но рычать или лаять не смели. Эмиль махнул им рукой и осклабился при мысли: «Даже волкодавам мерзит такая нора...» Затем он приотворил дверь, она оказалась дубовой и окованной в железо, но подалась легко и без скрипа. Эмиль заглянул в щёлку и слегка отпрянул...

Длинный со сводами подвал был скудно освещён восковыми свечами; на середине на узком столе распласталась нагая смуглянка, головой к двери. Возле переминался бородастый лесник в белом кафтане и тёмных портах, заправленных в короткие сапоги. Вдоль серых каменных стен стояли пять узорных деревянных кресел; в дальнем углу темнела купеческая конторка, а рядом громоздился просторный коричневый диван.

И вдруг простёр лесник свои руки над её отрешённым лицом, и она торопливо поднялась и на цыпочках двинулась к двери. И вдруг Эмиль бесшумно стрекнул из подвала и кинулся в свою комнату, где мутрно и долго, уже в постели, пытался он перед сном понять причину своего странного бегства...

Утром Эмиль со снедью ушёл в горы и, созерцая их, успокоился. Встретился он со стариком только за ужином, и оба они оказались одеты в чёрные драповые костюмы. В трапезной горели восковые свечи и камин, за окнами моросил дождь.

Они вкушали медвежатину и пили полынный травник.

– Поганые здесь у меня сны, – сказал Эмиль. – Будто дурману нанюхался.

Старик прожевал и молвил:

– Не нужно дурманы хаять.

– А кто у тебя столь незримо хозяйствует? В каких хибарах, хатах и избах они живут? И кто они?

– Слуги.

И чёрные брови седого старика дёргались, пока он произносил:

– А твоя мать меня чуралась, да от своих козней и сгнула.

А ты – мой наследник.

– Разве ты богат, живя, как сыч в дупле?

– А ты в подвал заглядывал этой ночью?

– Да. Случайно.

И старик с шестью горящими свечами в канделябре повёл внука в личные свои покои, где тот ещё не бывал. Они поднялись наверх по железной винтовой лестнице и оказались в тесной коморке, где на полках лежали пучки трав и стояли пузатые пыльные бутылки и жбаны. Из коморки прошли они в просторную и проветренную комнату; там старик задул свечи и включил неяркоое электрическое освещение.

Эмиля поразило обилие книг, и все они оказались в кожаных добротных переплётах с мерцающими золотыми тиснениями.

В комнате было два высоких окна, завешанных плотной серебристой тканью. Письменный стол из палисандра гро-

моздился на середине, и около него высились два дубовых кресла. Возле дальней стены между книжными шкафами темнел кожаный диван, и отливало розовым лаком ещё одно кресло.

Старик привычно расположился за письменным столом, Эмиль уселся напротив и, озираясь, хмыкнул:

– Уютная келья. Такой у меня нет.

– С обустройством не захотел ты возиться.

– Нет, я хотел, – заупрямился Эмиль. – Не получилось.

– Если б хотел, то и сделал бы, – изрёк старик. – Свершают только то, что хотят. Коли оказался в тюрьме, значит именно к ней и стремился. Просто неосознанным желанием было. А ведь я могу тебя научить внушать людям и речью, и взором гибельные для них желанья. И даже бессознательное хотение смерти.

И вдруг воображение Эмиля взбесилось от жуткой приятности в его грядущем умении приканчивать взором людей. И лицо Эмиля вдруг стало чванным, старик же подметил это и присовокупил:

– Не потому ли мы чахнем и стареем, что сами бессознательно хотим этого?

И вдруг Эмиль безмерно поверил в могущество старца.

– И чем я заплачу? – спросил внук.

– За мою науку не бывает безобидной мзды. Перед ученым нужен жертвенный обряд, не иначе. Ради безграничной власти надо полностью утратить уважение к себе. Жертво-

приношением станет девка, которую ты намеренно видел ночью в подвале.

Старик вальяжно восседал в кресле и смотрел на внука ехидно и хитро.

Эмиль самому себе вдруг начал казаться незнакомцем; он вперялся взором в грозные и презрительные зеницы деда и вздрагивал. И вдруг неожиданно для себя внук устремился в свою комнату и собрал там свои вещи.

Затем немедленно Эмиль на машине помчался домой, восвояси...

В своём городе Эмиль вскоре узнал, что усадьба дотла сгорела вместе с хозяином и его юной наперсницей. Сыщики заподозрили поджог, и Эмиль давал им показания; наследовать ему оказалась нечего: усадьба сгорела полностью вместе с деньгами, ценными бумагами, архивом и скарбом. Земельный же участок принадлежал не деду, а заповеднику... Посудачили в газетах о бесовской секте в лесах и о борьбе за власть в ней. Следователям прокуратуры проще всего было объяснить пожар нелепой случайностью, и они не преминули это сделать. Обугленную плоть и старика, и его наперсницы секта пышно похоронила в закрытых гробах. Эмиль не приехал на погребенье, но смерть девушки и старика несказанно его поразила.

«Зачем же я отказался, – размышлял он, – от тайного знания и сектантов-рабов, лебезящих со мною? Ради пошлой девчонки, которая быстро подохла и без моего жертвопри-

ношенья? Напрасно не захотел я учиться у деда. И ведь я чуял обречённость обоих. На войне я всегда угадывал, кого убьют нынче: у них особенный взгляд. Будто ангелы поселяются в них и смотрят горными очами через зеницы смертных. Ах, не оробей я в ту ночь, был бы теперь всемогущим...»

И он постоянно скорбел по сокровенному знанию, но в делах был успешен и быстро богател. Но его сожаленье по дедовской науке было столь назойливым и сильным, что он испугался за здравость своего рассудка. И решил он оклематься в городе, где обитала, – как Эмиль помнил, – Лиза. И всё ярче вспоминалась ему нечаянная их близость в усадьбе, и всё сильнее подробности той ночи возбуждали его. И начал он уповать на новую встречу...

Лиза осенью переселилась из дома родителей в свою квартиру, отделанную матерью.

Жене Воронкова доброхоты скоро поведали об его изменах, и однажды после званного ужина, когда они, выключив свет, отдыхали нарядные у себя дома в креслах, она спросила мужа:

– А если я поступлю так же?

Он ответил шустро:

– Я поведаю всё дочери.

– И о себе расскажешь?

– А мне незачем таиться.

– Объяснись, – попросила она.

– А я – ревнивый, и склоки семейные мне пакостить будут.

И не хочу я посмешищем оказаться, ведь прегрешенья твои в тайне не сохранить. И мне донесут, и слухи распустят.

– А девочка здесь причём?

Он вскочил и засновал по комнате; было совсем темно, и только раз мелькнул по стенам блеклый свет с улицы. Наконец супруг пояснил:

– Лиза тебя уважать перестанет, как впрочем, наверное, и меня. Уж так она воспитана. Но ведь я, – чучело, – стерплю и не такое, а вот ты презрение дочери не снесёшь... Смекаешь?..

Она обречёно кивнула, и он присовокупил:

– Мужу и позору меньше. А коли девочка мать не уважает, то и сама в срам непременно канет. Успокойся и покумекай. И смирись со своею новой стезёй.

И, гордясь собою, он ушёл в опочивальню и там быстро уснул с храпом. Жена в раздумьях не плакала, и только на рассвете, сидя в кресле, она принудила себя заснуть.

Она проснулась поздно, супруг уже отбыл на службу. В смятом вечернем платье, не умываясь и не завтракая, она уверила себя в том, что ей надо срочно ехать на стройку за городом.

В вечернем платье неслась она по горной извилистой дороге, пока впереди не оказался замызганный порожний грузовик с прицепом. Она принялась обгонять его и вдруг со страхом подумала, что погибни она сейчас, никто особенно кручиниться не станет. И она, пугаясь, катила рядом с грузовиком, не обгоняя его. Затем виновато она глянула в предсмертные глаза юного грузина, который мчал, сигнали пискливым гудком, по правой полосе горной дороги, и всё окончилось для них... Она умерла мгновенно, а грузин – грозовой слякотной ночью с молниями и градом...

На кладбище корявый и потный вельможа в просторном чёрном облачении произнёс надгробную речь; он кряхтел и заикался, теребя и комкая листок бумаги. Лизе мнилось, что люди на погосте укоряют её за скудость её стенаний. И гнушалась она всеми мужчинами на кладбище. Она запла-

кала от ужаса перед одиночеством. В слезах она обнимала опечаленного отца и думала о том, что эти рыдания её кста-ти, ибо мать её уже опускала в могилу.

На поминках Лиза была очень недолго, она, ссылаясь на своё горе, рано уехала к себе...

Осенью в город по совету врачей приехал прославленный пианист Тулин, чтобы навсегда осесть на побережье. Олегу Ильичу вздумалось залучить знаменитость в наставники своей дочери, и музыканта немедля пригласили и доставили к городскому главе. Воронков ему посулил за бесценок особняк, отобранный по суду у мошенника-банкира. А пианист обязан был не только учить Лизу, но и быть успехов её рачителем, трезвоня везде о несравненных её дарованиях. И столь щедрыми были посулы, что ошеломлённый пианист не сумел отказаться, но яро возненавидел сановника за нахальство и за новое ярмо на себе.

И уже квартируя в особняке, питал он всё более растущую неприязнь к неведомой своей ученице; презирал он себя за квелость и скорбел одиночеством. И всё сильнее злобился он на Воронкова и его дочку, которой всё было недосуг прийти на урок.

И всё-таки в особняке ему нравилось жить: восхищали картины, писанные маслом, мебель, удобная и прочная, книги в высоких резных шкафах из морёного дуба. По вечерам пианист любил листать старые книги и вдыхать их запах. Тулин пытался не замечать вколоченные в стены ржавые крюки и гвозди, на которых прежде висели картины, теперь пропавшие. Ещё ему нравилась седая молчаливая и опрятная

женщина, приходившая в дом прибирать и стряпать за малую плату.

В ясное утро надел он белую сорочку и серый костюм, взошёл наверх в комнату с роялем и сел в глубокое мягкое кресло у растворённого окна. Смежил он веки и не заметил, как в садовую калитку и приоткрытые двери в дом вошла Лиза в коротком голубом платье и туфельках на острых каблуках. Она бесшумно по коврам поднялась к нему наверх, и увидел он её, когда она уже стояла перед ним.

Он суетливо покинул кресло и чуть согбённый спросил:

– Доброе утро. Кто вы?

– Здравствуйте. Я – Лиза. Папа мне сообщил, что я смею навестить вас.

– И сообщил он вам ещё и то, что я согласился-таки вас учить.

– Да.

Он сел в своё кресло у окна и велел:

– Поиграйте мне.

Он исполнила предсмертные мазурки Шопена и «Чёрное волхвование» Скрябина.

Затем она, сидя за роялем, ожидала оценок Тулина, а тот с ними медлил и размышлял:

«Она – странная. И славные пальцы её. Не боится оттенков: превращает акценты в крещендо и форте. Прибегает к оттяжкам, цезурам, неожиданным ферматам и люфтпаузам. И есть у неё стремление к выпуклому интонированию.

И особый ритм...»

– Кто был вашим учителем? – поинтересовался он.

– Павел Исидорович Гицевич. Его принимали у вас на Песчаной улице. Вы его помните?

– Да, – прошептал он. – Слишком раним он оказался для концертов и хандрил много. И где он теперь?

– Сгинул где-то. Но он привечал меня.

– И вы обрели такую технику благодаря ему?

– Нет, я сама, – пылко утверждала она. – Правда, сама. Я переиграла тьму этюдов. А он учил думать о музыке, но принудить к упорным занятиям умел лишь себя. И он хвалил мою природную постановку рук.

– Знаете, – признался он, – когда вы играли, вспомнилась мне ночь в голодном городе, в стылой комнате. Капала с подоконников дождевая вода, и крысы шуршали в старых прелых газетах. Вы очень похожи на ту, кто была со мной, но всё кончилось плохо и с ущербом для души.

– Но вы будете меня учить?

– Дерзну отказать вам. Я ещё мог бы повозиться с бездарной девчонкой, но учить такую, как вы, ненавидя до колик её отца, я не буду. Вы знаете о моей постыдной сделке с ним. Одарённого ученика нужно любить, но нельзя полюбить того, кто о тебе знает что-то постыдное. И скоро я отсюда уеду.

И она почти простонала, сражённая таким отказом:

– Простите... и прощайте... Я поиграю пока в кабаре.

Он проводил её через сад и запер за ней калитку...

И через два дня Лиза играла и пела в ресторане...

Она внезапно стала брезгливой. Даже случайные прикосновения мужчин ей претили. Она в ресторане ничего не пила и не ела, ибо её посуда мнилась ей нечистой; в танце ей были столь неприятны руки вождедеющих мужчин, что она порой брезгливо вздрагивала. Брезгливость не сделала её менее сладострастной: ночью она мечтала об оргиях и плохо спала, а утром после разнузданных грёз её тело казалось ей грязным. По-прежнему она много и в одиночестве гуляла по осенним улицам; порой ей хотелось проверить: не прошла ли её брезгливость?.. для этого заходила она в дорогой трактирчик и там заказывала себе сок, и ни разу она даже не пригубила свой бокал, ибо и вещи, и люди мнились ей заразными. Она быстро уходила, но дома, в своей постели жалела о том, что не осталась подольше, ибо мужчины вдруг начинали ей вспоминаться милыми...

И, наконец, хрустальные люстры в ресторанном зале ей показались соцветиями с запахами вина и жареного мяса. Порочные лики служанок уже мнились ей утончённо-красивыми; она уже не замечала пятен и вина и соуса на их кружевных и пёстрых сарафанах. Ей чудилось иногда, что в её теле живёт пошловато-ласковый зверёк с душистой шерстью. Зверёк и нежно, и нахраписто порою ей внушал: «Приласкай меня, приголубь...», и чудился ей даже его голос: томный и мужественный, с лёгкой хрипотцой...

Внезапно пошли обильные дожди, запорошил снег, быст-

ро тая; и каждое утро Лиза долго смотрела в окно на безлюдный и с лужами двор. Беспредельно далёким казалось ей время, когда во дворе было тепло и сухо. Лиза невзлюбила людей в очередях и на улицах, ибо начало мниться ей, что простонародье ею погнушалось бы, узнав её тайную сущность...

Однажды в ресторане ей передали приглашение посетить в отдельном кабинете сельского священника, – об этом сане гостя напечатано было в его визитной карточке, – и Лиза, обычно резко отклонявшая подобные просьбы, вдруг вошла к попу под его тихий кашель...

Священника звали Фёдором Антоновичем, и был он высок, грузен, рыж, курчав, бородат и белолиц, с карими глазами. Его дядя был архиереем. Вблизи от города Фёдор Антонович имел приход, усадьбу с двухметровым забором и злую кавказскую овчарку. Фёдор Антонович был уже бездетным вдовцом. В городе он снимал квартиру, где можно было и кутнуть тайком, и встретиться с теми, кто продавал ему для его коллекции церковную утварь, иконы, распятия, кресты и панагии. На этой же квартире Фёдор Антонович перепродавал излишние ему вещи и часто с барышами.

Он любил раритетные шипучие вина, дорогие сигары и чай, жареных перепелов на завтрак, виноград и зелень среди зимы, устриц во льду и копчёных угрей. В сельском доме священника хранились столь редкие книги, что даже многие учёные просили одолжить их, и Фёдор Антонович в этом никогда не отказывал. Он обряды творил величаво-неспешно, и он проповедовал истово; верил он в Господа искренно, но в себе подозревал способность быть при нужде безбожником...

Священник и сам ещё не ведал, почему именно Лиза, – одарённая пианистка с иконным ликом, – воскресила вдруг у него способность питать столь сильную страсть, которая была уже опасна для его дряхлого тела...

Она к нему вошла в ресторанный покой в чёрном коротком платье и связанными в пучок локонами; священник был в коричневом костюме.

Священник приказал вылощенному лакею убрать остатки своей трапезы, а затем принести белое вино, копчёные колбаски, ветчину, ягоды, фрукты, сыр, шоколад и солёные орешки. Всё очень быстро исполнилось, и разлил священник в полутьме пенное вино по хрустальным бокалам, забрызгав скатерть.

И разом они, не чокаясь, пригубили, и она пытливо на него посмотрела, он же, явно волнуясь, заканючил:

– Не сомневаюсь я, что можете вы оценить прекрасное. Есть у меня великолепная коллекция в сельском доме. Я хотел бы вас пригласить полюбоваться древностями.

– И мы в доме будем одни?

Он поперхнулся, сморщился и прямо ответил:

– Да, изящная...

Её покорило, и она молчала.

Он и сам не ведал, почему он вдруг спросил без оковностей:

– А разве нельзя вас купить?

С ухмылкой и недобро посмотрела она ему в глаза и ответила:

– Можно. Какая цена: любовь, преданность, искренность, ум?

– Хватит вам денег для баловства и накоплений. Я ведь

не скряга...

– И прочие не скупердяи...

И снова он не ведал, что принудило его вдруг брякнуть:

– А для меня деньги уже мусор: я ведь скоро умру.

И вдруг он испугался того, что это может оказаться правдой...

Она посмотрела на его большие белые руки с ярко-рыжими волосинками и вдруг поверила в его скорую смерть. Пальцы его потеряли обшлага его рукавов, а затем сплелись и замерли. Лиза своими пальцами вытворяла подобное, когда была в ужасе. И сразу священник показался ей симпатичным, у неё возникло влечение к нему всё более и более чувственное. Ей привиделась покорность в глазах его, и Лиза поверила в свою скорую и полную власть над ним. И влечение к нему усилилось, и она изумилась: неужели хочет она ласкать умирающего попа? И она ответила себе: «Да, но лишь потому, что он обречён...» Окажись он здоровым, она бы его отвергла... Впервые она себя чувствовала беспредельно свободной, и такое душевное состояние дано ей было возможностью выбора. И чем полярнее пути, из коих она выбирала, тем большей мнилась ей свобода. Ведь Лиза могла убежать домой и забыться там за роялем, а потом сыскать и умолить знаменитого музыканта Тулина давать ей уроки; внезапно ей поверилось, что он теперь не откажет ей в них. Но были возможны и услады порочностью, и полная власть над священником...

Она бы отсюда немедленно устремилась домой, если бы не вера её в готовность попа отдаться ей под иго. И был у священника такой взор, каким она сама порой смотрелась в зеркало, мечтая о монастыре и постриге в монашки.

Но почему алчет он иго её? Ведь оно будет жестоким... Ведь она же не простит своего осквернения, жизнь попа станет отныне мукой; неужели нет у него дурного предчувствия? А если ему неосознанно хочется страданий и даже гибели? Разве она сама не стремится порою пострадать? Бывало с ней и такое, что она изоврётся, сваливая на других свои детские вины, и вдруг столь гаденькой себе покажется, что и мочи нету терпеть. И тогда долго бранит она себя за плутни и пронырливость, а потом самоё себя, наконец, наказывает тем, что не покидает неделями дома, безмерно изнуря себя игрою на рояле. И возвращается после этой муки уважение к себе.

А у священника, наверное, столь тяжкие грехи, что нельзя их искупить малым страданьем. И стремится он бессознательно к смертным мукам, а в палачи избрал именно её. И чтобы она его терзала, влачится он в рабство к ней, и будет безгранично он ей покорен до самой своей смерти.

«И буду я вольна, – подумалось ей, – торопить или стопорить его околеваньё...»

Лиза приехала в дом попа вечером в узком чёрном платье с правым разрезом до бедра и причёсанная венчиком. Священник в белом костюме встретил её в сенях. В доме был уже сервирован стол: старинный русский фарфор, ножи и вилки – из серебра, рюмки и бокалы – хрустальные.

Они смаковали мадеру и ели суп с голубями; жареную на решётке форель запили они белым вином, индейку – шампанским. После кофе с ликёром и зёрнышком гвоздики смотрели они из гостиной с дивана через овальное окно на неясно-золотистое небо и на голый бесснежный лес.

Священник её спросил: всегда ли она была корыстной? После раздумья она ответила:

– Пожалуй... но я умела солгать себе...

– А у меня иллюзий давно уже не осталось. Ещё в детстве я знал, что буду я священником только ради безбедной жизни. И хоть я верую в Господа, но свершил я много окаянства, и теперь я очень себя не люблю. Но с врагами своими я сквитался, покуролесил я с приятностью, и мне теперь бесстыдство в сласть.

С усмешкой она попросила показать коллекцию, и прошли они в просторную комнату, освещённую напольной лампой с серебристо-стеклянным тенником...

Лики на иконах бередили совесть её, вспоминалась цер-

ковная музыка. Белая фигурка Спасителя на кресте из чёрного дуба напомнила гостье её собственное обнажённое тело. Священник балагурил басовито о покаянии, и вдруг захотелось ей исповедаться ему, и почудилось ей, что её прегрешенья превратились в жадные инфузории, травящие в ней слюну, кровь и дарования Божьи.

И перед образом Христа призналась она попу в своих разнузданных грёзах. Она вообразила, как извращённо ласкает она Христа, и в страхе перед кощунством зажмурилась. И хозяин дома повлёк гостью в спальню, и уже в постели с ним Лизе подумалось: «Источая скверну, привыкаешь в ней жить...»

Зимой в город приехал Эмиль и поселился в лучшей гостинице. По утрам он в белом бродил у моря, а вечерами он, облачённый в чёрное, посещал роскошные кабаки.

Однажды пил он за стойкой хмельные коктейли, и вдруг увидел он лицо её, нервное и печальное, и серые глаза, и волосы до плеч, и браслеты с рубинами на запястьях. И грозно покосился он на щеголеватого, грузного и лысого грузина в сиреневой блузе, и чуял Эмиль запахи пота и порченных зубов. Грузин убрался за дальний столик, и села она в голубом узком платье рядом с Эмилем...

– Вспомнил меня? – спросила она.

– Да, Лиза.

И пили они хмельную ярко-бурую смесь, пока он не сказал:

– Таимые мысли мучают, как неутолённая чувственность. Но не удобно в гомоне беседовать. Давай же на улицу от гвалта выйдем.

И вышли они в фойе, и принял он от швейцара и помог ей надеть светло-коричневый плащ с капюшоном, и застегнула она все пуговицы. Эмиль быстро облачился в чёрное лёгкое пальто.

Они вышли на бульвар с редкими фонарями вдоль реки; и журчала вода, и ветер усилился, и появилась из-за туч пол-

ная луна, и вспомнился Лизе сумрак в доме священника. И она бормотала:

– Зачем люди злые?.. И почему любовь мучает?..

– Но ведь и зло зачем-то нужно, иначе не возникала бы способность его творить. Всё объяснимо...

– И любовь?

– И любовь объяснима. Не думают люди о причинах любви, если она их нежит: и без дум весело им; а после любви в неё уже не верят. Всякий любит похожее на себя. И я чувствую, Лиза, что странно мы похожи и умом, и норовом, и отношением к смерти.

– Не суесловь о смерти, – попросила она, – не галди о смрадной карге с косою.

– Но, Лиза, если бы знали мы, что жизнь наша продлится вечно, разве не потеряли бы мы способность наслаждаться радостями земного существования? Мы бы тогда уподобились вечной скале, без чувств и разума, без горестей и счастья. Разве не печально это? Мы клянём смерть, боимся её до озноба, но забываем благодарить её за неизбывную жажду прелестей земли и неба. Ничто не обостряет разум и чувства сильнее, чем осознание близости конца. И я весьма благодарен злу за познание прелести благодеяний. Я люблю уродство за то, что сравнение с ним выявляет красоту. И ласки женщины всего приятнее после её сопротивления, как тепло дома после зимней вьюги. Нельзя различить благо, не узнав зло. Я люблю свои неудачи за радость, которая меня охва-

тывает при малейшем успехе. И радости всегда, как кусочек янтаря, схваченного однажды мною посреди песчаного берега; я подносил этот комок смолы из моря к своим глазам и, ликуя, думал о том, что будь янтаря на берегу много, то я бы совсем не радовался. И, значит, радость от моей находки порождена пустынностью берега. И, значит, если бы я не извдал зло, то не узнал бы и счастье. Вся жизнь – и муки выбора, и тягостная неопределённость.

Тёмными и путанными казались ей речи Эмиля, но звучанье его голоса волновало её, и чудилось ей, что его слова, стгорая в её теле, превращаются в музыку внутри её. Лиза вдруг благодарно к нему прильнула. И вдруг мелодии, звучащие в ней, породили столь нежные и страстные слова, что не сразу Эмиль поверил, что её речи обращены именно к нему. Но едва поверил он в это, как обесмыслила его несравненная приятность её речей, и вдруг уверился он в грядущем успехе всех своих зачинов, даже самых дерзновенных.

Он предугадывал её желанья: едва успевала она понять, что хочет его лобзаний, как он её уже целовал. Захотелось ей к нему на руки, – как после памятного купанья в горных лунных потоках, – и подалась она чуть назад, словно падая, и подхватил он её. Он нёс её столь долго, сколько она хотела; затем она шевельнулась, пожелав, чтобы он поставил её на скамейку и обнял бёдра. И он именно это и сделал. «Крепче, неистовой...» – мысленно просила она, и прижимал он всё сильнее бёдра её к своей груди, пока не уткнулся в них

лицом. Лиза подалась вперёд, падая со скамьи, и была им подхвачена и поставлена землю.

И Лиза вдруг поверила в Бога и мысленно молилась, потупившись:

«Прости, Господь, неверие в тебя. Ведь не было мне нужды в тебя поверить! Но что мне дало безбожие моё? Конечно, ничего!.. Я лишь блудница... Корыстная, смазливая и злая... И всё трудней мне уважать себя!.. Господи, ну зачем же обременил ты нас нуждою в самоуваженьи?..»

И она медленно пошла, размышляя:

«Всякому надо уважать себя... нельзя без этого себя любить... А что бывает после утраты любви к себе?..»

И она посмотрела на небо, его уже заволокло; закапал дождь, и она подумала:

«А если позвать Эмиля к себе?»

А Эмиля озарила вдруг приятность самоотречения, напоминая детство, когда привязался он к прыщавому хлипкому юнцу и по его воле лупил его врагов.

Эмиль снова поцеловал Лизу, и вообразилось ему, что входит он в чертоги властелина и возвещает весело о сносе церкви Покрова на Нерли. Эмиль не ведал: почему вообразилось ему, что возвещает он о сносе именно этой любимой своей церкви, и зачем ему грезился правителем краснорожий повар из неопрятного кабачка «Лачуга».

Вскоре Эмиль уже воображал и свои похороны на весеннем погосте: и гроб из морёного дуба, и груды венков с лен-

тами, и красоток в рыданиях. И лобзали красавицы его мёртвые губы и ланиты, вспоминая свои ночи с ним... А наяву затомил его ужас перед смертью, и начал он усердно грезить об оргиях, что всегда ему помогало избавиться от душевной муки. Но если раньше он себя воображал в оргиях знаменитым сочинителем, которого ласкают прелестные и богатые поклонницы, то теперь же – атаманом разбойничьей шайки и шулером с увядшими и замызганными блудницами из дешёвых притонов. Затем вообразил он себя правителем, повелевающим взорвать в северной обители свою любимую шатровую церковь, как сеялку в народе плевел крамолы, и понял Эмиль, что если бы наяву приказал он такое, то его удовольствие было бы несравненным. И он страстно вздрагивал и жался к Лизе.

И вдруг он успокоился и подумал:

«А ведь свыше остерегли меня: не изнуряй душу пороками, наветами и властью, иначе помрёшь скоро. Отсюда в грёзах и оргии, и правитель-мракобес, и кладбище».

И он шептал, обнимая Лизу во тьме:

– Соблазны губят мой дар. Как и твой, впрочем. Скоро мы и самих себя разлюбим.

– Мелочи это, – молвила она и вдруг замерла. И припомнились Лизе слова её матери в горах перед самой встречей с ним. А он говорил Лизе:

– Я бывал в доме, где хозяин распутничал под музыку Баха. Скорбная и нежная мелодия звучала в ночи одновремен-

но с похабщиной. И хозяин толковал мне, что если б его растили в вере в Бога и в честности, то стал бы он человеколюбом. Значит, есть у него инстинкты, которые могли бы его сделать совестливым и нравственным. И где же они теперь у жестокого извращенца? Разве они могли покинуть его тело? Разве не мстят они за себя и не бунтуют? Разве не хотят власти в теле? Самого себя ведь нельзя осчастливить. На такое способны только те люди, для коих ты сам – счастье!.. Так и наслажденье...

Осторожно она высвободилась во мгле из его объятий и подошла к реке, пахло мусором и гнилью. Лиза опёрлась грудью на чугунные перила и засмотрелась на чёрную воду. И он медленно приблизился к Лизе, и она, глядя на его белую ладонь на перилах, глухо молвила:

– Ты говоришь для себя важное, но неясное мне. И помянул наслажденье... А я не люблю это слово... И что мне в нём?.. Только детски наивная надежда на то, что оно означает.

И Лиза прибавила чёрство:

– А ведь приятно тебе вспомнить скабресный домик. А хозяин его – задорный старикашка, видать... Проказливый хрыч... Не лапоть из лыка...

Эмиль говорил быстро и негромко:

– Всякую тварь услаждает только то, что полезно для её вида. Прелесть соитий продолжает род, услады же власти развивают ум. А бесполезные твари не наслаждаются, их гу-

бит природа разными способами. И заставляет пресыщение понять нашу бесполезность, и близка тогда гибель, особенно для гения. А ведь я многим уже пресытился. Природа, творя гения, печётся о том, чтобы он не вредил людям, и поэтому в нём заложено стремление к смерти, и она обуревает его при порче дарований.

И присовокупил он горделиво и скорбно:

– Возможно, дарования мои мнимые, но в них я верю.

И меня пугала моя пресыщенность, пока не явилась ты.

– Ловко и лукаво научился баять, – обронила она.

И затем она вдруг вспомнила свою мать в горах накануне смерти и поверила в истинность его слов. Лиза поверила в то, что непременно он скоро умрёт, если покинет она его, и она, ликуя от возможности его спасти, льнула к нему...

И вдруг, оторопев, она поняла, что откажет ему сейчас она в своей любви, ибо не хочет никого спасать...

И услышал он её оскорбительный и чопорный отказ и на миг остолбенел. И она вошла в парадный подъезд, и Эмиль запомнил её улицу и номер дома. Начал моросить дождь...

Кира себя убедила в том, что ей дано проникать в тайные сущности любого человека. Она чрезвычайно быстро распознавала, даже в толпах и толчеях, тех людей, кто ей был подобен своекорыстьем и суетностью. Она бы считала многие свои поступки позорными, если бы их совершала не она, а другая женщина.

Кира чрезвычайно гордилась своим умом, но совсем она не понимала того, что её преуспевание здесь не более чем случайность. Ведь с Воронковым познакомилась Кира в то самое время, когда он, достигнув, наконец, вождельённой власти, пребывал в полном упоении, и поэтому отвалил он любовнице столь много, что и малой толики благодеяний этих не позволяла ему скарденность давать уже месяцем позже...

Ночью Кира в своей спальне за розовым столиком писала золотым пером на сиреневой бумаге поздравление подружке со свадьбой. Кира была укутана в белый пушистый халат, а перед нею стояли в китайской вазе тёмно-красные розы, и светилась матово серебром пепельница с клеймом Фаберже. Любовалась Кира своими холёными пальцами, изрывая черновики письма, и лак ногтей напоминал ей кровавые пятна после разделки говядины на кухне.

Церемонно вошла поболтать дочь, очень похожая на Ки-

ру и гонором, и статью. Разумная девочка не докучала матери чрезмерно; дочь быстро сообразила, что ожидается гость, и ушла в свою комнату...

Воронков посмотрел на чёрное короткое платье Киры, на бирюзовый её кушак, и сдула она пушинку с его коричневого костюма.

В полутьме уселись они за квадратный стол со снедью, с водкой и наливками в запотевших графинах и с шампанским в серебряном ведёрке со льдом. Хозяйка поднесла Олегу Ильичу рюмку с водкой, он быстро выпил и закусил чёрной икрой. И вдруг он снова ощутил непонятный ему страх за себя, изведанный в первый раз в персональной машине на перекрёстке у высотной гостиницы; там за круглым белым столиком Лиза одиноко пила кофе, и тело её показалось Воронкову измождённым, лицо же – страдальческим. А ведь хорошо помнил отец её чванную мину. Ему захотелось выйти из машины и приголубить девочку, но спешил он по своим финансовым делам, и потому уехал. И сразу за поворотом ощутил он этот страх за себя...

А ведь Олег Ильич был уверен, что ему нечего бояться...

Воронков себя мнил изошрённым и хитрым, и верил он, что безнаказанным останется любое его преступление. Он себя уже относил к правящему сословию, для которого не обязательны законы государства. И он знал, как его покровители, блюдя интересы и выгоды своего сословия, спасали от суда и тюрьмы заядлых взяточников. И, наоборот,

в тюрьме оказались радетели государства за нарушение ими неписаных сословных законов.

Воронков же не нарушал неписаных законов своего сословия, был он угоден начальникам и рьяно выполнял приказы, даже самые нелепые и вредные для черни. Приказы, которые простонародью были заведомо вредны, выполнял он теперь с особенным и всё более возрастающим удовольствием...

И вот теперь за яствами с Кирой думалось ему о том, что лад со своим народом и отсутствие нужды таить от него свои поступки и мысли столь драгоценны и сладостны, что стать преступником-татем можно только из большого страха остаться честным.

«Но ведь чушь всё это, – думал он, щурясь. – Неужели страх поступать честно и делает преступником? И неужели я порочен от страха перед целомудрием? Видимо, да... Ведь честность моя сразу опостылеет тем, кому выгодна моя порочность, и все соратники мои в миг ополчатся на меня и упекут за решётку... Ну а раньше, когда правил я лишь заводом и пытался быть честным? Разве начал я взятки совать не из боязни, что, коли не буду я делать этого, то лишат меня власти над тысячью работяг? Поначалу пугался я возмездия за подкуп, но сумел одолеть свой страх. На войне преодолевают даже страх смерти... Страх всегда подстрекает его превозмочь!.. Неужели в истоках любой измены лежит страх изменить своему долгу?..»

И себя он мысленно журил за нечестие. И вдруг поду-

малось ему, что если б он самого себя хаял, страдая при этом от хилости и вьюги, то, возможно, и стал бы он лучше. Но признание себе в мерзости своей, сделанное в тепле и сытости, лишь добавит жестокости и пороков. И на миг он понял предназначенье муки...

Но затем он вкусил куропаток и полюбовался Кирой. Истома в его теле была всё более сладостной, и грозно он постучал по столу костяшками пальцев, как на совещании при крамольных речах. И появилось у него злорадство, с каким учинял он свои самые большие пакости, и устремился он к Кире, воркующей об искусстве и любви. И напрочь позабыл он всё то, что обуревало его совсем недавно...

В солнечный день Эмиль, гуляя в чёрном плаще по городу, пришёл к ресторану Киры. Здание понравилось Эмилю, и он решил описать его в своей повести. Он уселся на скамью под платаном и начертил в записной книжке:

«Ресторан построен был в форме греческого креста и летом, окружённый платанами, казался их общим белым цветком. Закатное солнце золотило его купол. Весною ресторан казался домом невесты накануне свадьбы, зимою – жилищем вдовы, осенью – кладбищенским храмом. В этом здании не должен быть ресторан. Нельзя флорентийское Сан-Джованни превращать в притон...»

После раздумий он приписал:

«Искусство делает порочных людей ещё гаже...»

Он сунул записную книжку в карман и встал со скамьи. Он стоял, насвистывая, перед фасадом здания, пока не услышал сзади шум машины. Эмиль обернулся и узрел белый роскошный лимузин с красавицей за рулём. Красавица в голубом пальто вышла к Эмилю и задорно спросила:

– Зачем в ресторан мой так рано? Может, работу ищите? Охранником... Как зовут?

– Эмиль.

– Кира. Вы ночью уже бывали здесь?

– Нет.

– Сегодня приходите... даже без денег...

– Я богат... и отдыхаю здесь...

Он поцеловал её запястье и пошёл прочь от ресторана.

Она смотрела ему вслед и думала:

«Щеголь этот будет великолепен в моей квартире. Похож на поэта-декадента. Введу в моду новый стиль: декадентский...»

Ночью они пили шартрез и ели дичь в кабинете наверху, откуда был виден зал. Кира была в розовом коротком платье с вырезом на груди, Эмиль – в серой шёлковой одежде. На сцене видел он Лизу в ярко-голубом сарафане, певшую по-английски под рокот струнных инструментов.

И небрежно он осведомился о певице, и Кира, слегка ревнуя, сказала ему, что балуется Лизой сельский поп из Волчьего Дола.

– Неужто шалунишка-священник очень смазлив? – спросил Эмиль.

– И старый, и дряблый. Для Божьей благодати, наверное, она кувыркается.

«Так почему Лиза со мной брыкалась и шарахнулась прочь?» – изумлённо подумал он.

– Не понимаю я выбор её, – молвила Кира, – хоть и сама я не ханжа, а пассия здешнего мэра. Она же – его дочь, и теперь она барахтается у меня ради денег.

Он хмыкнул и ослабился.

– Но резоны и польза в моей связи с мэром есть, – заме-

тила Кира, – ведь моё всё это.

И она шевельнула пальцами, словно мусоля денежные купюры.

– Пожалуй, – согласился он.

– Едем ко мне, – предложила она, и согласно он кивнул...

У неё дома встретила их её дочь и, всё поняв, шмыгнула в свою комнату...

Вальяжная хозяйка уселась на диван, и Эмиль, стоя перед нею, возненавидел её. И всё же он воцелел к ней; казалась она ему очень на него похожей. «Я вёл бы себе так же, – подумалось ему, – будь я важной дамой. Кира – нравственный мой двойник, но с женским телом...»

Она его спросила досадливо:

– Почему не идёшь ко мне?

– А в тебе нет нежности.

– Зачем она тебе, если во всём покорным будет моё тело?

И улыбнулась она дразняще, и он, стоя перед нею, думал о том, что сам он с такой вот ухмылкой оценивает блудниц.

С его сознанием происходило странное: вдруг он начал воспринимать себя женщиной, облачённой для маскарада в мужские одежды. Он сел, наконец, рядом с нею и прижался к ней. И пнула она проказливо его плечи и, опрокинув его навзничь, ринулась на него. И мнилось ему тело её гораздо крепче и крупнее, чем было оно в действительности. И вдруг ему подумалось: «Сейчас себя воспринимаю я женщиной, но разве я баба? Значит, могу я себя считать даже гением,

не будучи им. Неужели я ошибался в восприятии самого себя? Но кто же я такой?..»

И свершил он неожиданное для себя: он, урча и багровея, скинул её на ковёр и встал над нею, и когда гневно вскочила она, ударил её кулаком в живот. И она рухнула ничком, и любовался он мелкой дрожью её плоти, пока оба разом не устремились они в распахнутую дверь спальни... И уподобилась в постели их взаимная страсть нервическому припадку; затем долго они лежали нагие во мгле на простынях и молчали...

Кира спросила, наконец, пугливо и вкрадчиво:

– Почему ты побил меня?

– За вельможного хахаля, – соврал он.

– Но я лишь пользуюсь его любовью. Если бы тебе сулили богатство и власть за ночи с дурнушкой, разве отказался бы ты? Особенно, если б знал, что иначе обретёшь успех только через дюжину лет. И связь эта постылая возникла ещё до знакомства с тобою. И тебе не надо ревновать. Не человек он более.

– А кто же? – спросил Эмиль, опираясь на локоть.

– Ступенька в иерархии правителей. А ты ведь чарующе-живой. И тебя я простила. Готова нищей в шалаше быть ради тебя, хотя всегда боялась бедности.

И он, самодовольный, не усомнился в этих её словах, и, прижимая голову её к своей груди, он думал:

«Приятен мне страх её предо мною, как признание моей

власти. Мою власть могут признать добровольно, если буду я высказывать верные мысли. Но ведь не нужны богатому и властительному нашему сословию верные мысли, они – в ущерб ему, и не смею я порвать с ним и стать отщепенцем. Мой народ мне уже бесполезен, и далёк я теперь от него... Моему сословию требуется моя жестокость для защиты его интересов, и поэтому я невольно свирепею. Не преуспеть нам без суровости, не выжить... Всё сильнее привлекает меня власть... не потому ли, что моя ценности, как личности, уменьшается?..»

И вдруг себе объяснил он причину, по какой ударил он Киру.

Ударил он её, мол, потому, что постиг наитием её духовную свободу, которую он сам уже почти утратил. Кира ему казалась способной претерпеть ради своей любви и нищету, и лихолетье, предав своё властительное сословие. И хотя Эмилю было приятно, что Кира готова ради него на неприкаянность и мытарства, но ведь и бесила столь незаурядная духовная свобода. И, кроме того, такая свобода казалась ему опасной для их сословия. И мнилось ему, что хотел он кулаком своим лишить Киру опасного для их сословия вольнолюбия.

Эмиль совершенно забыл, что недавно Кира ему казалась нравственным его двойником с женской плотью. Но появилось у него отвращение к самому себе, а затем и к ней, и готов он был вновь её ударить...

Он проворно вскочил и начал одеваться, и запалила она спичкой свечу под иконой у своего изголовья. Затем обулась Кира в тапочки с бахромой и облачилась в белый ворсяной халат. В прихожей они простились с поцелуями, и он ушёл, хлопнув дверью. Кира возвратилась к себе в спальню, где и задула оплавленную свечу. Затем проглотила она пилюлю для сна и, скинув на пол халат, легла в постель...

Эмиль вернулся в гостиницу пешком и, быстро раздевшись, рухнул в постель. И снились ему: и дряблые щёки, и пот на лице, и хлопья туши на ресницах, и пальчики в со-усе, и пятна на платьях, и окурки, и объедки, и шкалики с мутной водкой, и солдатские фляжки и котелки... Эмиль себе снился развязным и седым брюзгою... И утром мнил он вещим этот сон...

**Конец первой части**

# Часть вторая

## 1

Солнечным холодным утром Эмиль помылся в ванне, тщательно побрился и надел свежую сорочку и белый шерстяной костюм. Плащ выбрал себе Эмиль тоже белый.

Эмиль вышел на улицу и в заведении возле гостиницы взял напрокат чёрный лимузин. Эмилю вздумалось ехать в Волчий Дол и взглянуть на попа – совратителя Лизы. А если получится – избавить её от связи со старцем в расе.

Эмиль себе казался в это утро очень добрым, и он даже подвёз до базара вертлявую смуглую старуху с золотыми коронками на зубах и в опрятном шушуне. Она и показала, как доехать к церкви за околицей села.

Эмиль затормозил ухарски возле церкви и вылез из машины. Церковь оказалась уютной и белой с серебристым куполом, поодаль была часовня из красного кирпича. Часовня и церковь были огорожены узорной решёткой из серого чугуна, двор – вымощен брусчаткой. Эмиль вошёл во двор и услышал, как в церкви запели: был праздник трёх святых. На паперти стояли две старухи в чёрных платках и душегреях. Старухи посмотрели на Эмиля и перекрестились; он, улыбаясь им, вошёл в церковь. Они посмотрели ему вслед

и вновь перекрестились. В церкви Эмиль почувал запах ладана и увидел людей на коленях и священника на амвоне, благостно-величавого и рыжего... Священник пропел гулким басом: «Господу помолимся...» и шагнул к своей пастве. Грянул хор, и верующие закрестились ещё усерднее и стали чаще припадать лбами к паркетному полу. Вдруг девушка в сером пальто, белой шали и с чёрной длинной косою вскочила с колен и, молитвенно сложив руки, устремилась к попу. Поговорил он мрачно с нею и вдруг улыбнулся величаво и ласково. Поп указал ей перстом на фреску с Богородицей, писаную над дверями, и девушка трепетно обернулась; Эмиль смотрел на её лицо и не понимал: красива она или нет? Девушка опять повернула к попу и заговорила со своим пастырем. Эмиль, жмурясь, воображал, как он сам будет ласкать её худое бледное лицо и поджарое тело; затем он снова рассматривал её высокий и слегка выпуклый лоб, округлый подбородок и прямой нос.

Священник заметил, что парень в белых одеяньях любит-ся юной прихожанкой, и сказал ей: «Греховные в тебя взоры вперяют». Она гневно обернулась и увидела мужские вытращенные глаза и упрямые губы; подумалось ей, что красив этот хлопец и не шалопай, но лик её оставался строгим. «Искушение... вот оно...» – со сладко щемящим ужасом думала она, осторожно обходя коленопреклонённых прихожан.

Эмиль хотел её догнать и познакомиться с нею, но молебен уже окончился, и люди, крестясь, плелись из церкви.

И вдруг Эмилю показалось, что испугался он юной богомолки, и до сумасшествия ему захотелось отомстить ей за этот свой страх осквернением её...

Церковь быстро опросталась, и священник, подойдя к Эмилю, сообщил:

– Кончена литургия.

– У меня к вам дело... о Лизе...

Священник беспокойно глянул на Эмиля и произнёс:

– Сейчас сниму я облачение, и в часовенке мы побеседуем. Окажите мне милость: подождите.

Священник вошёл в ризницу и плотно притворил за собою дверь. Эмиль рассматривал иконы, прикидывая их стоимость на рынке. Вскоре священник в чёрном пальто вышел из ризницы, в руках вертел поп и серую шляпу, и дубовую трость, украшенную серебряным набалдашником. Эмиль последовал за священником. Старухи на церковном дворе дружно поклонились священнику, и в ответ получили они приветливую пастырскую улыбку...

В часовне были: иконостас, чан для купели, лампы, диван, стулья, письменный стол из морёного дуба, ореховый шкаф с книгами, старинная купеческая конторка из красного дерева, и изразцовая растопленная печь. Паркетный пол старательно был натёрт воском. Серебрились в дальнем углу два больших бидона и надраенное медное корытце. Многие предметы в часовне имели рыжеватый оттенок. Священник, чихая, положил на диван трость и шляпу и указал же-

стом Эмилю на стул возле письменного стола. Эмиль снял плащ и, бросив его на конторку, сел за стол. Священник с себя неспешно стащил пальто и повесил его на гвоздик возле иконы; затем расположился поп на диване и произнёс:

– Моё имя – Фёдор Антонович. А как же вас звать-величать?

– Эмилем.

– Я вами любовался в церкви. Я обострённо чувствую красоту телесную, особенно в храме, когда он пуст и благолепен. Вы очень красивы, Эмиль. Неряхи-уродцы в храме мерзят, при их появлении хоть набатом в колокол звони, как при наскоке монголо-татар на древнюю Русь. Но сколь приятно вдвоём во храме с такими, как Лиза или вы.

Эмиль ему вкрадчиво ответил:

– Не красотой улажаться вам надо, а каяться во лжи, посеянной вами. Ведь не верите вы в Бога.

– Почему ж решили вы так? – удивился поп. – Всуе не надо трунить.

– Истинно верующий не повесит пальто на гвоздь возле святой иконы. И, наверное, на гвозде этом ещё недавно икона висела. И где ж она теперь?

Священник ответил примирительно:

– Учинил я греховное, согласен. Но ведь я привык к моим иконам. А разве благоговейны вы с женщиной, к которой уже привыкли?

– Я знал, что обмолвитесь вы о женщинах. Умело их мо-

рочите, пастырь!

– Если мой сан есть вина, то ведь только самих верующих. Не веруй они в Бога, и я не стал бы священником. Сначала возникает вера, а лишь потом культ и его служители. Я не говорю об основателях религий, ибо они – особый случай, они бессознательно чувствует томленье толпы и потекают ему ради обретения власти. Творить обряды и проповедовать, не веря в Бога, весьма сложно... это ведь – кавардак в мыслях, от него с ума сходят... И я поверил в Бога. И знайте: верую истово... Такая вот душевная карусель...

И вдруг священник удивился своей болтливости и неспособности унять её; Эмиль ему внимал с иконно-суровым лицом.

– Я понимаю, Эмиль, как вы изумлены. Мол, нельзя верить или не верить по собственной охоте. Но, пожалуй, лишь так и верят. Доводилось ли вам совершать подлость? Припомните, как вёл себя ваш разум тогда. Разве ум резво не искал оправданий и не долдонил о неизбежности свершённого? Неизбежностью оправдать всё можно. И вы, наконец, оправдывали себя. Иначе и быть не может, ибо ваш ум – ваша собственность, как и ваши руки. Если вы ушибаетесь, то руки ваши потрут шишку или рану, сделают примочки и уменьшат боль. Так и ваш разум.

– Однако, – строптиво перечил Эмиль, – если сломан позвоночник, хребет, то собственные свои руки не поспособят. Лекарь в этом случае нужен, иначе калекой останешься.

Священник не возразил ему и подумал:

«Как мальчишка я разболтался. Неужели я калякаю, пу-  
стословлю только для того, чтобы отсрочить муки серьёзно-  
го разговора о Лизе?..»

И священник привычно изобразил на своём лице благо-  
родную грусть. Эмиль сказал попу, желая его уязвить:

– Я понимаю, сколь вы иезуитски опасны. Уже не страшит  
вас жупел ереси... Я вообразил вас в церкви с русой девоч-  
кой с чёрными ресницами. У неё розовые мочки ушей; она  
пришла к вам исповедаться. У неё милые детские грешки.  
И вы её, как пресвитер, пестуете, назидательно увещеваете,  
но ведь и вожделеете вы к ней. Но столь она невинна и чиста,  
что вы смекнули: её не совратить вам. И мечтаете вы, чтоб  
другой её соблазнил и опозорил, и пришла бы она к вам уже  
растленной, и вы тогда попользовались бы ею...

– Не ведаю, о ком толкуете вы, но только не о Лизе.

– Как знать...

– Не о ней, – утверждал священник, – скорее о моей юной  
прихожанке; вы пялились на неё в церкви. И даже Лизу вы  
тогда забыли.

Эмиль смолчал и насупился, а священнику вдруг очень  
захотелось произнести обличительную речь о распутстве  
и взятках, о кутежах и беззакониях, о наркотиках и блудни-  
цах. Священнику хотелось витийствовать о тихом своём сча-  
стье склоняться о себя дома, среди икон и распятий, над ста-  
рыми фолиантами мистиков и в раздумьях о Христе забы-

вать мерзость земной юдоли. Священнику хотелось горячо разглагольствовать о своём намерении совлечь Лизу со стези порока.

Священник вообразил свои гневные жесты при обличеньях и добрые свои глаза при словах о спасении Лизы; казалось ему, что он похорошеет, говоря такие речи, и погладил он свои ляжки. Но вместо благородной речи священник молвил, осклабясь:

– Наверное, влюбились вы, в мою юную прихожанку, Эмиль, и теперь хотите у церкви её похитить. Но есть у неё заботливый жених. Он и глуповат, и неказист, но добр. Это ведь я выбрал ей наречённого, и согласна она с моей рекомендацией. И не изменит решенья без благословенья моего. А зовут её Майя.

– Говорите без околичностей, – деловито и серьёзно попросил Эмиль.

– Хорошо, без обиняков. Привезите ко мне Лизу: она избегает меня. Вместе решим судьбу её. Сегодня Лизу привозите, а завтра я Майю благословляю на утеху с вами. Святой водою прихожанку окроплю. Иначе вам Майю не обрести: фанатично мне верит. Я живу в доме с башенкой за булыжным забором возле кладбища. Чуть поодаль деревянная мачта с флюгером. Мне ожидать вас обоих?

– Пожалуй, – ответил Эмиль с напускным безразличием. Священник взял шляпу и поспешил к иконе, возле которой висело на гвозде его пальто. Торопливо надев паль-

то, священник взял с дивана трость. Эмиль нервно вскочил со скрипучего стула и облачился в плащ.

Выйдя из часовни, священник нахлобучил шляпу, Эмиль последовал за ним. На дубовой двери в часовню вырезан был лик Христа в терновом венце, и священник, запирая дверь, упёрся в этот лик плечом. Затем священник, кивнув Эмилю, пошёл прочь с церковного двора. Две согбённые старухи в чёрных шубках пытались облобызывать иерейскую руку, но поп досадливо отмахнулся от них. Эмиль посмотрел на резной лик Христа на двери и тоже заспешил со двора; выйдя за ограду, уселся он в лимузин... И вспомнились Эмилю осенние осины, серое небо и нагловатый мужчина с морщинистым личиком...

В осенний пасмурный день Эмиль в голубом костюме долго блукал по палой листве среди осин и елей. Наконец, Эмиль вышел к дачам и побрёл мимо них по асфальтовой дорожке с выбоинами. Навстречу Эмилю от синего обшарпанного ларька пошёл с бутылкой вина маленький тонкий мужчина в сером клетчатом костюме и с морщинистым самоуверенным личиком, сединой и плешью. Вдруг Эмилю захотелось хлебнуть хмельного, и подошёл он к ларьку. Эмиль увидел бутылку вина на окошке ларька и спину торговца в белом халате. Ларёчник, отвернувшись, лакал пахучее пойло. И схватил Эмиль бутылку вина, и улизнул он, не заплатив, хотя бумажник его в боковом кармане пиджака был пухлым от денег. Затем в чаше откупорил Эмиль бутылку и выпил краде-

ное вино с особенным удовольствием...

Теперь в машине Эмиль не понимал, почему вдруг ему вспомнилось это; его подсознание показалось ему тяжёлой и мрачной тучей в туловище, особенно увесистой в паху. В туче этой всё мельтешило, мерцало и вздрагивало; она слал сигналы в мозг, и оттуда шли ответные токи. Туча настырно подчиняла себе сознание, и оно становилось её покорным и услужливым рабом.

И вдруг Эмилю его теперешнее положение показалось великолепной завязкой повести. Эмиль решил описывать и встречи с Лизой, и отношения с Кирой, и внезапное влечение к Майе-прихожанке, и свои колебанья и раздумья. Но Эмиль не знал: какой же быть развязке? Выдумывать развязку ему не хотелось, ибо это означало, по его мнению, отклониться от правды. Эмилю уже казалось, что ради правды в своих писаньях, он просто обязан ехать к Лизе и уговорить её вернуться к священнику, а затем получить за это прихожанку. Иначе он, дескать, непременно соврёт в повести своей, а истинный художник должен быть правдивым. И вот нечестивость его начала мниться Эмилю его долгом перед русской литературой. Только мгновенье Эмиль осознавал то, что эти выпренные раздумья нужны ему для оправданья своей будущей приятной подлости. Затем Эмиль снова уверовал в то, что он обменяет Лизу на прихожанку только для создания литературного перла. И мнилось Эмилю, что жизнь его станет отныне искусством, а не пошлым прозябаньем.

И он помчался к Лизе, и быстро нашёл её дом и подъезд, и спросил у старух на лавочке номер квартиры кабацкой певички...

## 2

Эти дни были у Лизы выходными; вчера она истратила в магазинах все свои деньги. И теперь она, свернувшись нагая под тёплым одеялом клубочком, размышляла со злостью о том, что вынуждают её отдыхать всегда в такие дни, когда у музыкантов в ресторане особенно большие заработки: в пятницу и в субботу. Ещё думала Лиза о том, что, если б она сегодня ночью пела в ресторане, то к утру наверняка у неё были бы деньги, а может быть ей снова положил бы в декольте крупную купюру старый еврей, сутулый, худой и лысый, с большими грустными глазами, длинными ресницами, капризным ртом и женственно-красивыми тонкими пальцами. Лиза пела иногда возле его столика, покачивая бёдрами. Еврей приглашал её за столик и пил с нею вино, касаясь пальцами её колен и рук. Она выпивала с ним бокал шампанского, и старик ловко и нежно совал ей в декольте крупную купюру, а затем, осклабясь, просил уехать в его серебристом лимузине из ресторана. Однажды Лиза отказала еврею в этом, и потом несколько ночей кряду, сколько она не пела возле него, покачивая бёдрами, не позвал он её за свой столик. Она перестала уже рассчитывать на деньги еврея и больше не вертелась возле него, но старик однажды подошёл к ней сам и предложил её отвезти домой, и сразу согласилась она и после этого всегда с ним уезжала, ес-

ли он давал ей деньги. В его машине она всегда садилась рядом со старцем; однажды пыталась Лиза сесть позади его, но не смогла отворить нужную дверцу.

В салоне еврейской машины пахли загадочные благовония, и звучала грустная музыка Моцарта и Баха. В машине старик не касался Лизы, а говорил о живописи, литературе и ювелирном искусстве. Товарки Лизы толком ничего не знали о старике и считали его крупным дельцом; она их уверяла, что имеет твёрдую долю в его доходах. Лиза полагала, что старик из тщеславия хочет похвастаться близостью с юной красавицей, а, возможно, и показать кому-то в ресторане, что вхож в семью городского главы. Слухи о большом доходе Лизы от совместного дела со стариком весьма ей льстили, и она рьяно транжирила, чтобы эту молву о себе подтвердить. И деньги у Лизы быстро иссякли, и в ресторане об это догадались; о ней судачили уже, как о девице вздорной и смешной; толковали, что никогда свои проценты в барышах старика-еврея она не имела, а отец её – большой сквалыга и невежа. В ресторане вдруг стали с нею оскорбительно развязны, а старик еврей запропал некстати из города. И Лиза об этом весьма сожалела, ибо решила взаправду войти в долю со старцем на любых его условиях. Была она готова поехать и к священнику и искала благовидный предлог для этого. Иногда просила она деньги у отца, но в последние дни был он прижимист...

Эмиль переминался возле её двери и не мог никак по-

нять: откуда взялась у него в храмовой часовне уверенность в том, что Лиза непременно согласится ехать с ним к попу? Эмиль уже начал бояться того, что это была слепая, глупая уверенность. И ведь могла Лиза оскорбиться его предложением и высказаться начистоту, и уже боялся он узнать о себе из уст её мерзкую правду. Ему захотелось поскорее уйти отсюда, но превозмог он себя и позвонил коротко в её квартиру. Затем он прислушался: за обтянутой коричневой кожей дверью было тихо. И вдруг возмечтал он, чтоб не оказалось Лизы дома, и если б так случилось, то бродил бы он долго по закоулкам, пообедал бы в харчевне у моря и порылся бы в ветхой лавчонке среди старых книг. И это бесцельное блужданье по улицам, и скромная, непритязательная трапеза на веранде у моря, и листание потрёпанных книг уже казались Эмилю истинным счастьем. Он снова прислушался, взирая на дверь; было за нею тихо, и вновь он позвонил в замершую квартиру, но уже длинно. Он позвонил длинно ещё два раза, и опять не услышал шорохов за дверью. И после этого он решил он, что Лиза дома отсутствует, и сразу позабыл он боязнь своей встречи с нею. И снова верил он в то, что охотно она согласилась бы ехать с ним к попу. И, наконец, подумалось Эмилю, что, не застав Лизу дома, он должен, пожалуй, скорбеть. И вообразил он себя с грустным лицом возле трущобы из брёвен и досок, и вдруг действительно ощутил он мечтательную скорбь. И стала вдруг его скорбь несносно-тягостной, едва услышал он, что дверь отпирают.

Лиза была в халате из чёрного шёлка, её распущенные волосы золотились. Эмиль же вдруг потупился на её чёрные туфли на высоких каблуках. Она посторонилась и молвила:

– Входи.

Эмиль шагнул в прихожую, снял и повесил на крючок у дверей свой плащ. Хозяйка заперла дверь на бронзовый засов и пошла в гостиную; Эмиль последовал за Лизой. В гостиной Лиза жестом усадила гостя в резное дубовое кресло, а сама прикорнула напротив на диване, оббитом розовым бархатом. Над её головой висела икона с ликом Христа, купленная ещё матерью Лизы. В комнате было свежо и пахло духами. Эмиль посмотрел на икону и усмехнулся; хозяйка, заметив это, надменно спросила:

– Почему ухмыльнулся ты, посмотрев на Спасителя? Неужели тебе сейчас весело?

– Сегодня я с утра среди икон и кадилъниц, – пояснил он. – Я спозаранку навестил священника в сельской церкви. Он очень рыж. О тебе он помнит и просит тебя приехать к нему. Можно ли ему потрафить?

Ей очень захотелось помучить Эмиля, и вдруг почудилось ей, что оживает в её теле сладострастно-жестокий зверёк с пьяно-душистой шерстью и зловещей томной улыбкой. Лиза посмотрела в зеркало напротив дивана и увидела воображаемую улыбку зверька на своём лице. Эмиль пристально глянул на Лизу и спросил:

– Чему ты радуешься?

– Тому, что он меня любит. И он щедр. А прочие – сквалыги.

И страстно вздрогнула плоть Эмиля, предвкушая бурную ночь с прихожанкой; он уже понял, что готова Лиза поехать в село к священнику. И вдруг Эмиля так обидела и оскорбила готовность её предпочесть ему рыжего попа, что гость невольно прослезился, и Лиза, заметив это, зажмурилась от удовольствия. И пристально смотрел он на неё, и понимал он, что теперь наслаждается она его страданьем.

– И сколь же быстро меня разлюбила ты! – упрекнул он.

– Но я никогда не любила тебя, – возразила он, предвкушая ещё большие его муки. – И даже ночью в горах я тебя не любила. Я смотрела в окно, как шлялся ты по лунному двору и замирал в красивых позах. «Нужно мне сделать только дюжину шагов, – подумалось мне, – и перестанет любовь быть для меня тайной». И я слушала дыхание спящей матери. И вдруг вообразила я себя в золотистой парче, в гробу посреди церкви. Руки мои лобзали иноки и старцы, и были их губы слюнявыми и дряблыми. Ещё вообразила я заснеженное кладбище, закатное небо и лес поодаль. И тебя, блуждающего в отчаянии по сугробам в дебрях. И всюду тебе мерещился мой призрак. И наяву я пошла к тебе.

И он усердно тщился запомнить её речь для своих будущих писаний, и он завидовал умению Лизы повествовать. И он презирал себя за эту зависть и бахвалился:

– Я познакомился с твоей хозяйкою Кирой и успел уже

влепить ей оплеуху. Она была чрезвычайно страстной после побоев.

– Я знаю, сколь ты сноровист. Спасибо за тумачи хозяйке. Она ведь – зазноба моего папаша, и сосёт его, как дойную корову. И он со мною всё менее щедр. Убеди моего отца в её неверности. Авось, он бросит Киру.

– Неужели ты хотела бы меня замарать, а сама остаться чистенькой? Не отрицай! Ведь не придётся тебе извиняться перед Кирой за побои. Не придётся тебе лопотать ей о любви, думая об уликах неверности для твоего отца. И разве посочувствуешь ты угрызеньям совести моей? Конечно, нет; а когда всё я для тебя сделаю, будешь брезговать мною, как букашкой, козявкой. Но тебя не минуют минуты, когда истомись ты собственной подлостью, и тело твоё покажется тебе нечистым, едва ли не в струпьях, и загорчит на губах привкус пьяных лобзаний. И захочется тебе, если не оправдать себя, то хотя бы показаться себе менее плохой, чем есть ты в действительности. И тогда вспомнишь ты обо мне и подумаешь: «Он гораздо хуже меня, ибо предал свою возлюбленную. По сравнению с его огромной подлостью мои гаденькие шалости извинительны. Если такой мудрец и гений – право, в эти минуты будешь ты искренно считать меня таковым – совершил невероятную подлость, какую ему предложила я, значит, в мире не обойтись без негодьяства. Зря я, глупая, себя ругаю: есть гораздо худшие подлецы». Так ты подумаешь. При ссорах наших будешь ты ме-

ня корить этой гнусностью, наслаждаясь моим унижением. Но ведь и я навеки запомню, как ублажалась ты сегодня минутной моей слабостью.

И Лиза мысленно согласилась с ним и растерянно спросила:

– И что же мне делать теперь? И неужели будешь ты меня муржить, мариновать с ответом?

– Поступи подстать мне.

Она размышляла, а он себя ожесточал мыслями об её неверности и коварстве. Наконец, Лиза решилась:

– Всё сделаю, что хочешь.

– Догадалась ли ты, зачем ты нужна мне?

– Ласки мои не нужны тебе сегодня, – тихо рассуждала она, взглядывая на него искоса, – иначе б ты нежничал. И нужда во мне появилась у тебя после встречи с попом. И ведь нужно от меня что-то постыдное, иначе б сразу изложил просьбу, а не принялся юлить в разговоре.

– Священник просил тебя вернуться, и сейчас мы едем к нему.

– Наверное, денежное дельце затеяли, – предположила она со вздохом, – и во мне нужда появилась. Значит, поедем к попу. Я постараюсь одеться побыстрее.

И устремилась она в опочивальню, оставив дверь приоткрытой. Лиза переодевалась очень долго, гадая: ринется он в спальню или же нет? И решил он, что Лиза провоцирует его похоть, но он колебался...

### 3

А нагая Кира вспоминала в своей постели беседу с мужем накануне развода с ним.

В ту ночь она узнала, что получила завидную должность. Кира сидела в жёлтом халате перед зеркалом и расчёсывала черепаховым гребнем свои длинные, густые, иссиня-чёрные волосы. В спальню вошёл муж в домашнем белом костюме и в тапочках с бахромою. Кира увидела отраженье кряжистой фигуры в зеркале, но не обернулась. Он был черняв, приземист и плотен, с густыми бровями, коротким горбатым носом и полными красными губами; был он мускулистым и сильным; пальцы у него были изящными и длинными, а ногти с маникюром. Муж всегда говорил монотонным и тихим басом, и чем был злее, тем медленней высказывался. Узнать же настроенье его по лицу было невозможно, ибо всегда оставалось лицо его непроницаемым. Муж медленно проговорил:

– Поздравляю тебя с новым высоким чином. Резвые копытца у тебя оказались, приткая ты. Только вот слухи мельтешат, что должностью новой наградили тебя за женскую уступчивость, а не за ум.

– Уступчивость теперь – проявление ума. И не нужно каверзных намёков. Я – дельный сотрудник.

Муж вальяжно уселся в кресло и хохотнул:

– На свете много дельных работников. Но прозябают они в своих конурах, а ты преуспела.

– Считаешь меня бездарностью, – сказала она чуть более запальчиво, чем хотела. – Но теперь могу я преуспевать и без твоей помощи. Перестану у тебя канючить... клянчить... грошики...

Он посмотрел на неё пристально и спокойно. Пыталась она твёрдо выдержать его взгляд, но когда показалось ей, что уже готов муж свои глаза отвести, она сама потупилась...

– Ни в чём не потерпел ты ущерба...

– Так ты полагаешь?

– Да.

– Значит, всё-таки изменила.

Она сумела превозмочь свой страх перед ним и предложила:

– Говори так, будто случилось.

– Не хочу я зваться одураченным, рогатым мужем.

– Никто ничего не узнал бы, – пылко возразила она, прижимая руки к груди. – Я была бы осторожной и сплетен не допустила бы. Никто тебя не назовёт обманутым мужем. Я бы тебя ласкала так, будто ничего не случилось. Более того, осознание некоторой вины перед тобою сделало бы тело моё ещё более пылким. Попробуй. Старость твою я буду холить и лелеять.

И он тяжело поднялся с кресла и подошёл к окну. Он смотрел в ночное окно, и Кира терпеливо ждала ответа. И муж,

наконец, высказался, взирая на своё отраженье в ночном стекле:

– Какие оригинальные мысли у тебя соткались! Надо нам развестись. Квартиру, коллекцию и дачу оставляю за собою. И дам тебе деньги на приличный дом, обзаведенье и богатую жизнь. И дочку нашу обеспечу.

Кире очень не хотелось отказаться от почёта, который всюду ей оказывали, как жене известного учёного и богача; поэтому она спорила:

– И зачем тебе развод? – говорила она, пожимая плечами. – Теперь тебе не найти женщину, которая тебе не изменила б. И ласки твои таковы, что поневоле захочешь сойти со скромником. К тебе я привыкла, и буду я и впредь покорной. В обществе меня будут считать примерной женой и заводить тебе.

– А удел твой – тюрьма, – сурово предрёк муж, взирая в окно, – и я не хочу, чтобы имя моё в судах трепали вместе с твоим жалким именем. А вдруг и на коллекцию мою власти покусятся вкупе с иным скарбом.

– Но почему ты решил, что я попаду в тюрьму? – искренно изумилась Кира. – Тебе из мести хочется, наверное, чтоб стала я узницей. Поозирайся окрест: ведь охамели все от безнаказанности. А ведь не собираюсь я зарываться, излишне рыпаться.

Он улёгся на постели и сладострастно потянулся; Кира, сидя у трюмо, нюхала флаконы с духами. Муж заговорил мо-

нотонно и тихо:

– А помнишь разговор намедни о казне и расхитителях? Ты ещё дивилась, почему же все они, заграбастав, хапнув по случаю куш, не затаятся на время в глубинке, во чреве России, а продолжают оголтело красть. Разве не твердила ты мне, что жадность их глупа и ошибочна?

– И разве я не права? – спросила она, нюхая свои руки.

– Не вполне. Ведь чают они возмездие, но бессильны ускользнуть из игры. Ведь будешь и ты звеном в иерархии с жёсткой дисциплиной... никому не позволено там улизнуть из прихоти или даже здравомыслия...

– И что же с того? – небрежно отозвалась Кира. – Без повелений высшей власти не тронут иерархии воров-кромешников, а законным властелинам зачастую плевать на страну. Часто и плесень, и ярыжники они. Мы же не лыком шиты.

– Красавица и разумница просчитается, – и муж щёлкнул пальцами; в речи его появилась лёгкая картавость – верный признак его увлечённости беседой. – Твоей дивной плотью ярость народа растапливать будут.

Кира отмахнулась:

– Никому теперь не нужно будоражить народ.

Супруг уселся на постели, скрестив ноги по-восточному, и заговорил быстрым баском:

– Ошибаешься, милочка. В мозгах у тебя, словно дым ко-ромыслом. На Руси борьба за власть на ярости народа зиждется. И почва здесь кровушку любит... Ты в окно посмот-

ри: дождь накрапывает, и на стеклах капли, будто кровинки. А далее – бездна, и в ней народ... Для разжиганья громадного костра используют щепки, солому, бересту и хворост... И ты пригодна быть этим мусором, который станут жечь для зачина пожара... Досель народ подобен тьме... И будут во тьму эту швырять людской хлам: мелких воришек и торгашей-плутов, пока народ – чёрная густая тина, бездонная хищная прорва, не всполошиться, не замерцает искрами, не станет кипятком с пузырями и чадным ядовитым паром для властителей и жрецов. И зазвучат заклинанья о справедливости и совести, и те, кто будет орать заклятья, забудут истинную причину бунта, – низменный передел богатства и власти, – и поверят, возможно, в своё полное бескорыстие и праведность своего буянства... И непременно ты зарвёшься и будешь среди первых, кем нахрапистые юные честолюбцы, считая себя обделёнными и обиженными, начнут распалать народ. И тебя отвергнут, исторгнут, истребят...

И очень медленно проворчал он:

– Оскверняя – оскверняешься...

– Ничего этого не случится, – спорила Кира, сев к нему на постель, – все слои и сословия страшатся свирепости русских мятежей. Твои пророчества ошибочны. Наверное, влюбился в стерву и хочешь жениться на ней.

И прижималась она к нему в надежде, что, усладив его плоть, побудит его отказаться от развода. Муж, не отстраняясь, молвил:

– Глупые женщины, всё они сводят к любви. И я любил многих, будучи твоим мужем, и не вредило это моим делам; много напихал я в свою торбу. Но ведь ты – чадо суматошной и суетной красавицы. Зарвёшься, коли влюбишься. Кичиться и пыжиться будешь, и поэтому зарвёшься. А, погрязнув в любви, затеешь склоку ты с косным своим покровителем, и оплатит он тебе тюрьмой. И будешь прощать ты любимому всё, даже оплеухи.

«Ох, нельзя разводиться с ним, ох, нельзя... опасно...» – думалось ей тогда, и целовала она его в губы; он же ласкал её медленно и страстно...

Пару месяцев препирались они об условиях развода, но были ночами намного страстнее, чем прежде... Кира торговалась с ним упорно и алчно, уповая на то, что муж пожалеет и драгоценности, и вещи из своей коллекции и не станет разводиться. Но ничего он не пожалел и добился развода...

И теперь легла она в бирюзовом халате на диван, и были воспоминанья её болезненно-яркими. Вспоминались ей речи мужа почти дословно... У неё оказалось теперь очень много денег; о столь больших суммах она прежде не смела и мечтать; изобилие средств у неё заставило вдруг подумать, что она уже зарвалась. Значит, её бывший муж верно напророчил. Её поколотил любовник, и она его простила. Значит, бывший супруг и в этом оказался прав. И вдруг городской начальник стал ей противен, и ощутила она сумасшедшую решимость порвать с ним. И Кира, потяя от страха, подума-

ла:

«Муж правильно напророчил. Неужели и впрямь тюрьма? Но почему ради Эмиля? Ведь он проделал со мною то же самое, что и другие: раздевал, целовал, ласкал. Но было наслаждение несравненным. Значит, дело не в нём, а во мне... Он – первый любовник мой, с кем была я бескорыстной; у прочих всегда я что-то выпрашивала, меня хахали не уважали, и я знала это. А с Эмилем была я великодушной, кроткой, заботливой и мудрой. И мне приятно вспомнить своё поведение с ним. Восхищаясь мною, ревновал он столь сильно, что пришиб меня. Не может он считать меня плохой, и я люблю его мнение обо мне. Люблю усилия свои ради него. И ведь готова я уже порвать со мстительным покровителем. Неужели я осмелюсь? Неужто муж во всём прав?..»

И вдруг она припомнила, что именно на сегодня назначил ей свиданье покровитель её...

Эмиль ещё колебался и в спальню не шёл; он видел в приоткрытую дверь, как мелькает обнажённое тело, и, уверенный, что Лиза ждёт его, размышлял:

«А что будет, коли войду я к ней? Поцелуи, объятия, ласки... и моя утолённая чувственность... Но разве после этого нужна мне будет прихожанка Майя? И что значит для меня скромная эта богомолка?..»

И снова смотрел он на мельканье голого тела, и, не желая соблазниться, жмурился он, но сразу после этого страстно вздрагивал; духи её пахли всё приторнее, из спальни доносился шорох. И вдруг началась у Эмиля галлюцинация, и чудилось ему, что вошёл он таки в спальню, и уселся он на постель, где лежала обнажённая плоть; слабые девичьи ручки снимали с него одежду; его сознание наполнялось болотной мутью, дурно пахнущей и вязкой; и стал он косноязычен, и вырывалось у него вместо слов мычанье, утробное, довольное и жуткое.... И пригрезилось Эмилю, что обратилась Лиза в целомудренную и строгую инокиню, и сразу из сознания его исчезла болотная муть, и перестал он мычать и быть косноязычным, но исповедался он красавице в монашеском клобуке и складно, и искренне. И покаяние было слаще, чем утоление чувственности...

И вдруг наяву увидел он Лизу в чёрных кружевах и ту-

фельках; она стояла, подбоченясь, в дверях и смотрела на него с явным удивлением; он оторопел и перестал грезить.

– Помоги мне, пожалуйста, одеться, – нервно попросила она и вернулась в спальню; там на зелёных покрывалах постели чернело узкое короткое платье. И стала Лиза в спальне так, чтобы видеть отраженье Эмиля в зеркале. Он смотрел в её отраженье, и улыбалась она завлекательно и томно, презирая самоё себя. Она вела себя с ним совсем не так, как ей хотелось. Ей же хотелось с ним быть вежливой, чопорной и чуть презрительной.

И вообразилась ей оргия в чадном кабаке: и шоколадные конфеты, завернутые в червонцы, и нагие блудницы, хлебающие пенное вино из хрустальных ваз, и хмельные ражие мужики в чёрных кафтанах. И она сама нагая и в колье из яхонтов возвышалась над всеми в узорном кресле с чёрным бархатным балдахинном, а рядом в гусарском мундире хозяйка её Кира щебетала ей на ушко, как поступать надлежит: или спесиво хмыкнуть, или гостя приветить, или чару вина за здоровье музыкантов и танцоров выпить. И вдруг бурчанье в левом ухе велело Лизе встать из кресла, поклониться в пояс гостям и плясать для них, и поняла, наконец, она, что скопились здесь на шабаш вурдалаки, и алчут они свежей крови...

Наяву Лиза ощутила, как легли на её плечи сильные его ладони, и она поняла, что соблазняет она его сейчас не из любви к нему, а ради укрепления своей веры в свою неотразимую прелесть. И едва исчезли у Лизы всякие сомне-

ния в том, что достоинства её безупречны, как она отпрянула от него к окну. Не успела она ещё надеть своё платье, и залюбовался он чёрными её кружевами на млечной мерцающей коже. И он ожесточался и глупел от страсти, и казалось ему, что если он теперь насладится Лизой, то разум его больше никогда не сможет обуздать его плоть. И ринулся Эмиль к ней, и отвернулась она от него, и поцеловал он её лопатки. И чудилось ей, что звучат в ней горестные и нежные мелодии, но глушит их урчаньем зверёк в её теле, уже не томный и ласковый, но настырный и жестокий. И с каждым поцелуем Эмиля всё ниже по её позвоночнику ворчанье и вопли зверька в её теле были всё громче, а мелодии всё обречённее и тише. И подумалось ей, что она быстро умрёт, если мелодии в её теле совсем угаснут; свои похороны вообразились ей весьма похожими на материнские... И вспомнила она материнские тоскующие глаза, и вырвалась она из его грубеющих, но ещё нежных лап, и проворно надела она своё платье. Страсть Эмиля сразу исчезла, но обозлился он тем, что его отвергли...

И оправляла она перед зеркалом платье, и замирал он за её спиною. И вдруг Лиза повернулась к гостю и сказала:

– Не сердись Эмиль... Товарки мои в ресторане наглеют со мною, и появилась у меня для отпора им злая воля. И показалось мне теперь, что если тебе я уступлю, то заполонит меня злющая эта воля всецело, убив музыкальное моё дарование. И тогда преступлю я некую роковую грань, и переста-

ну я себя любить. А ведь почему-то я очень боюсь утраты любви к себе.

И поразила Лиза внезапной своей искренности и посмотрела искоса на его отрешённое лицо. И вдруг ощутила Лиза, что мыкаются в ней противоречивые образы и чувства, и хотелось ей и спокойных семейных радостей, и разнузданных оргий. Ей хотелось и ударить Эмиля, и приласкать его; она смотрела на его губы: они изгибались то горестно, то презрительно, а Лиза попеременно была то нравственной, то порочной. Горестные изгибы его губ делали её нравственной, а презрительные – порочной. Она посмотрела на свои руки, и вдруг возликовала она при мысли: «Я лгать ему не могу... не смею и не хочу...» Она не понимала, почему ликует она именно при этой мысли; и Лиза пыталась своими взорами сделать Эмиля искренним, уповая страстно на то, что после его исповеди ей станет их поездка к священнику невозможной.

Эмилю вздумалось запомнить её речи для своих писаний, и вдруг ощутил он превосходство её над собою, озлясь на неё за это. И захотелось Эмилю её осквернить, и она услышала:

– Едем скорее к попу, и не хнычь ты, ради Бога. Глупо уже нам тужить.

И она устремила от него в переднюю и надела там белый плащ; и вдруг Лизе подумалось: «Как в саване...»

Они вышли из подъезда, и Лиза предложила выпить кофе в кабачке поодаль; они вошли в неряшливый зал. На стенах весели медные чеканки с горянками, виноградными лозами и кувшинами; на потолке со старой лепниною пылилась матовая люстра с хрустальными бусинками; на коричневых столах белели в вазах увялые комочки роз. Закопошилась за стойкой нарумяненная смуглянка в синем коротком платье с вырезом на груди и в тёмных узорных чулках. Эмиль негромко потребовал кофе и усадил Лизу за столик в углу. Служанка сварила кофе на песке, и Эмиль пошёл за чашками сам. Смуглянка, передавая ему белые чашки, коснулась его щеки своею душистой гривой и слегка царапнула ногтём его запястье. И затем, принимая деньги, тронула его руки, и Лиза всё это заметила.

После пары глотков Лиза сказала:

– Ах, сколь хотелось бы мне быть бездарной! Если бы я выросла дурнушкой, то я молилась бы теперь на свой талант. Но красавице не нужен талант, ведь её смазливая рожица даёт и денег, и удовольствий больше, нежели изнурения за роялем. И есть у меня предчувствие того, что позднее я пожалею о загубленном даре. А будь банальной я, обыкновенной, я бы не сетовала на всё это. Всякий лелеет свои природные дарованья только по житейской необходимости. И если

можно задарма получить все блага, коими обладает гений, то незачем быть им.

– Ты очень похожа на свою мать, – молвил он.

– Была она совестливой и доброй, и если бы решила она умереть, то не тащила бы за собой жизнь молодого грузина. Самоубийством не было это, их машины случайно столкнулись.

– Резонно, – произнёс он.

Лиза более не хотела говорить о своей матери, но со страхом слушала свои слова:

– Когда папаша возвысился, то стала мама вдруг тревожной, и глаза её порой будто кусали, и появились в них красные жилки. И снились мне странные сны: мрачные склепы, злые вороны среди могил и сугробов, облуненные бугорки погоста. Однажды мне приснилось, как вороны клевали мою мать и до смерти её изранили, и мы с отцом зарывали пышный гроб, да время было обеденное, и сели мы на заснеженный холмик перекусить, и я вся обмякла, а папаша-то лопал ретиво, и глаза у него плотоядно рыскали... Когда она погибла, я сразу подумала: самоубийство! Но потом я узнала, что не в одиночестве мама разбилась, и я успокоилась. Моя мама не могла увлечь в бездну за собою жизнь постороннего.

И посмотрел он на Лизу, и показалась она ему жалкой. Ему захотелось себя уверить в том, что заслужила она любую, даже самую жуткую участь, как справедливое возмездие за нечестие в прошлом. И мгновенно Эмиль во всё это

поверил, и взял он её левое запястье, и вознамерился он стиснуть его изо всех сил, но превозмог он себя. И вдруг Эмилию вообразилась обнажённая прихожанка, её боязливая девичья дрожь и отчаянье после растленья. И почмокал он губами, и вдруг ему подумалось, что он хочет овладеть прихожанкой непременно с поповской помощью только ради того, чтоб усугубить муки этой девочки пастырским предательством. Услады страданиями девочки уже предвкушались; участие в растлении пастыря, которому свято она верила, измучило её до корчей. Наяву же Эмиль самому себе стал отвратителен, и себе искал он оправданий, и хотелось ему даже помереть, и воображались ему и соборование, и гроб с глазами и кистями посредине церкви, и громкие вопли и рыданья...

И думалось Лизе о том, что желанье одурманить себя и вином, и пороком появляется у неё всегда, если вспомнилась мать. А Лизе вспоминалась мать при любом недуге. Крохой хворала Лиза почти с удовольствием, ей нравилось валяться в кровати изнурённой и бледной и при этом знать, что озабочена мать только ею. Мать смотрела часто на часы, чтобы не опоздать с лекарством, и читала ей вслух книжки. И теперь у Лизы были при болезни неизбежны воспоминанья о матери.

Лизу внезапно зазнобило, и она сказала:

– Едем поскорее к священнику.

Эмиль поперхнулся кофе и сделал на лице надменную ми-

ну. Кофе он допил, торопясь и захлёбываясь, движения его были егозливыми. И поразила её разница между его гордым лицом и суетливыми жестами. И даже захотелось ей буркнуть ему нечто презрительное, но она увидела у ног своих рыжего полосатого котёнка. И она всхлипнула, почти уверенная в том, что это – по зверьку.

Эмиль же воображал в эти миги рыдающую прихожанку, и не сразу он смекнул, что это Лиза наяву всхлипнула. И сказал он ханжеским тоном, какой уготовил прихожанке:

– Неужели, милая, Господь тебе судил заплакать в радостные миги?

Елейный его тон покоробил Лизу, и показался ей бредом их разговор. Озираясь, она увидела в кабачке двух мужчин: первый – степенный, худой и щетинистый старец в сером тесном костюме, второй – высокий, русский, чубатый и потный силач в потёртой дублёнке и в фиолетовых штанах; здоровяк тащил, пыхтя: в правой руке – огромный рыжий баул, а в левой – соболью шапку. Эмиль рассеянно спросил Лизу:

– О чём ты печалишься?

– Мне котёнка жалко, – ответила она, тыча пальцем вниз.

«О себе погорюй, дурёха!.. рехнулась...» – чуть было не рявкнул Эмиль, но сдержался он и шустро огляделся вокруг. Затем Эмиль, ревнуя Лизу к силачу, увёл её из кабачка.

У машины наткнулись они на хилого прыщавого старика в белой шубейке, и Лиза, бормоча: «Трухлявый пенёк, лапоть...» – посторонилась. Они уселись в машину и покатали

к попу с непроницаемо-безразличными лицами...

Воронков в коричневом костюме вдруг поразился убожеству своего кабинета. Недавно Воронков узнал, что пишут на него доносы, и теперь он был тревожен. В служебном кабинете он сидел один и думал:

«Кому нужно, чтобы угодил я под суд за махинации? Праздным и ехидным кляузникам, марающим поклёпы, да злорадному народу в нищете. Яро мне завидуют за то, что до серьёзной власти я докарабкался. Одни напасти от народа: он – жуликоват, ленив и склочен. Народу нашему не потакать надо, но вышколить его до полной, безмерной покорности. Иначе крошечники запалят фитиль бунта...»

Воронков походил по кабинетным коврам, постоял около зеркала на стене; он взирал на отраженья своих гневных поз и суровой мины; он был таким, будто собирался гневно обличить людские язвы и нечестия; и сердила его склонность народа делать властям одни лишь неприятности.

К нему вошла его секретарша Марина в синем коротком платье и на высоких каблуках; в руках её была чёрная папка с документами. У Марины были слегка припухшие белые щёки и скуластое лицо, прямой нос, низкий лоб и маленькие голубые глаза; рыжеватые пряди были свиты в кок на макушке, брови же были тонкими и почти незаметными. Но в ней иных приятно впечатляло безупречное тело: выпук-

лое, упругое и сильное. Была Марина опытной работницей и не замужем. Воронков не пытался узнать о ней подробнее, боясь уронить своё достоинство расспросами о мелкой сошке...

Посмотрев на Марину, он уселся в своё крутящееся кресло; она же подошла к начальнику и поднесла бумаги на подпись. Марина явно медлила уйти; стояла она рядом с ним, и было ему весьма удобно обнять её за талию. И он, поколебавшись, обнял Марину, и села она ему на колени. И вдруг ему почему-то вспомнился летний вечер наедине с женою, ещё до измены ей...

В дождливый вечер смотрели они вдвоём на покровителя Воронкова в телевизоре и молчали. Жена была в розовом платье, а муж – в синем английском халате; искристо-жёлтый тенник на лампе сотворил в горнице золотистый сумрак. И сидели они рядом на диване с багровой обивкой; парча на окнах была чуть раздвинута, и капли дождя мерцали на полосках стёкол.

Сановник на экране телевизора рьяно долдонил текст с особливými оборотами речи: вместо «пахать» – «возделывать угожья», вместо «народ» – «население», вместо «чиновного хамства» – «низкий уровень культуры». И жена вдруг спросила, рассматривая золотые перстни на своих пальцах: «И зачем наши правители портят язык?..» И супруг ей мудро ответил: «Любое слово в своём изначальном смысле вызывает некое чувство. И коли враньё изложить ясным и точ-

ным языком, то возникают чувства, взаимно исключаящие друг друга, и понятно, что лгут. И потому излагают враньё словами, лишёнными изначального смысла, и это приводит к длиннотам, причудливым фразам и нелепым сочетаньям». И жена глянула на него с изумленьем. «Неужели сам придумал?» – спросила она. И кивнул он ей утвердительно, хотя слышал он это пару лет назад на слякотном зимнем базаре от старика в синем рубище и в кривой очереди за яблоками. И хотя вдруг вообразилась Воронкову старческая спина в синем тулупе среди женщин в пёстрых одеяньях, но не понял он, почему теперь привиделось ему именно это, и ему верилось, что он сам сейчас придумал удачный ответ жене. И грезилось ему, что ласкает он её нагое тело, но с головою другой женщины...

Потом он пару минут целовал и щупал Марину, пока не ушла она с торжественной улыбкой, неспешно притворив за собою дверь...

Священник в сером костюме и голубой сорочке сыто восседал после завтрака в мягком просторном кресле и любовался интерьером своей гостиной со многими оттенками рыжего цвета. Затем в шлёпанцах пошёл он в покои с коллекцией. Почёсывая бороду, он любовался древней иконой Богоматери скорбящей; серебряный оклад её был совсем недавний, но священник сумел многих убедить в том, что оклад её – времён церковного раскола и патриарха Никона, и, толкуя об этом, искренно верил своей лжи. Оконные занавески из золотистой парчи были на треть спущены, чтоб не портило солнце вещи; церковное серебро своим мерцанием напомнило священнику линии нагого женского тела в жёлтом сумраке: потир – талию и бёдра, а купель – живот. И вспоминались священнику гости, которые восторженно и с завистью ойкали, узнавая ценность вещей... Он, семена, вернулся в гостиную и уселся в кресло у окна. Он посмотрел на двор, вымощенный серым булыжником, на тёмные низкие тучи и под собачий дальний вой вздохнул понуро. Подумалось: «Кобели изнывают, словно по усопшим...»

Священник понял, что будет он сейчас проклинать себя за суетную жизнь, и перекрестился. Уже невольно бормотал он проклятия самому себе, и вдруг услышал он своё тоскующе-надсадное восклицанье: «Лиза!» Озираясь, он изумил-

ся: неужели полюбил её?.. И вдруг себе он объяснил свою болезненно-страстную увлечённость ею так: ему нужна была женщина, способная замаять его до смерти. Он-де себе купил утончённое средство самоубийства, ибо на скорую смерть непременно обрекала столь мучительная любовница. И устремило, мол, его к смерти ощущение того, что люди бессознательно хотят его кончины...

Хотели прихожане попа и душевнее, и проще, чем нынешний их настоятель, служанку изводили его капризы и докучливость, любовницы мечтали о юных парнях, сообщников бесила его изошрённая хитрость, а учёные домогались его книг. И все хотели его смерти, иные, впрочем, бессознательно... Прихожанам хотелось устроить пышное погребенье своему усопшему батюшке: прозябая, нуждались они в зрелищах. Ведь тогда им будет нужно готовить поминки и похороны, выбирать и сладить надгробье, а затем призовут нового священника, и всласть посудачит село о пастырской чете. Скрасило бы всё это постылую, скучную жизнь... Его служанка уповала на то, что не обидит он её в своём завещании. Наивные учёные неколебимо верили, что богатую библиотеку свою завещает он их музею, и сладостно уже предвкушали они составление каталога редких книг. И хотели плутоватые сообщники скупить за бесценок его коллекцию у наследников...

И никому не было нужно, чтобы он не умирал, и это его лишало воли к жизни. Никто не говорил ему прямо: «Хочу

смерти твоей...», но перестали его жалеть и сочувствовать ему, и удовольствия мог он теперь получать только за деньги. Алчностью мстили ему за утраченное им бескорыстие, и, наконец, уразумел он, сколь это страшно. И появились у него муторные, мучительные масла:

«Избавляются любые сообщества от своих вредных или бесполезных им членов, применяя для этого разные способы. В древности способы были проще: яд, кинжал или плаха. Теперь: клевета в газетах, травля, наветы, суд. И главное: внушить страх. Господи, да ведь я неправильно понимал значение страха! И мнилось мне: страх для того, чтобы страшное не сделать. Но разве не делал я всего того, чего боялся? В семинарии опасался иметь любовниц, но имел их. Боюсь спекулировать, но барышничая. Смерти боюсь я до озноба, но ведь и плачу девке, способной меня убить... А ведь я боюсь её... боюсь её таланта гибнущего... Отчего муки душевные? Оттого, что идеи, мысли остаются невысказанными втуне, и способности от этого гибнут. И чем одарённой творец, тем муки сильнее. И без таких мук никто не рисковал бы творить новое... Всякий живёт, пока знает, что сообществу нужен. А гению, если озлобился он, утратив способности к творчеству, непременно понять дадут, что бесполезен он или даже вреден. Перестают жалеть его, сочувствовать ему, и приятное бескорыстно ему делать. И на то он и гений, чтобы всё понимать быстрее, чем простые смертные. И всё... грядёт духовная пустота... И не подмога прежние достиже-

нья, пусть даже они на самых святых скрижалях... Безучастие близких всегда вызывает страх перед смертью, доселе подавляемый их душевностью, любовью и лаской... Страх возникает после того, как опасная цель определилась. Если я боюсь, значит, мне нужно совершить страшное. Я не боюсь горных вершин, пиков и скал, ибо я знаю, что никогда не полезу на них... Одолимый страх заставляет собраться с мыслями и духом... Неодолимый ведёт себя хитро. Подобно жутким телесным мукам лишает он рассудка, и человек бессознательно делает всё, чтобы поскорей достичь страшной цели. Так и я вёл себя, покупая себе убийцу... И от своей ненужности готов сейчас я в петлю...»

Он тяжело встал и, отдуваясь, прошёлся по гостиной; собачий вой был ему уже почти приятен. Священник доковылял до напольного зеркала и, созерцая в нём своё отражение, подумал о завещании. И вдруг он, кривя губы, изумился: «Неужели я взаправду готов себя извести до смерти?...» И лицо его, отражённое в зеркале, судорожно исказилось; подумалось: «Спятил... не сдохну... шалишь...» И стало вдруг ему столь муторно и мерзко, что он, спотыкаясь, насилу дотащился до кресла у окна. Тяжко он уселся в кресло и, поглаживая брюхо, прохрипел: «Господи, избавь ты меня от жерла преисподней!..» Затем подумалось ему: «Неужели нет у меня выхода? А ведь многие палачи, изуверы и мерзавцы живут долго. И наверняка было у них поначалу такое душевное состояние, как у меня теперь, и казалась им смерть сладост-

ной. А ведь живы они остались, и спасительно для их плоти их души заскорузли... Но чем заплатили они за жизнь? Почему они, не умирая, становились всё жесточе и гаже? Упыри! Вурдалаки! Но оставались они жить! Значит, и у меня есть выход. И умирать не обязательно! Но что со мною произойдёт, если, поняв необходимость своей смерти, я всё-таки не умру? И чем я заплачу за продление жизни своей?..»

И он, потяя, обмяк в кресле и понял:

«Искажённым восприятием мира заплачу... Я стану гнидой и шельмой, а затем я начну оправдывать себя рассуждениями о том, что прочие не лучше меня... Как оправдывали себя те палачи, изверги... Им нужно было непрерывно доказывать себе то, что другие ещё хуже... Зачем-то нужно самооправданье... Неужели для того, чтоб не разувериться в своём праве жить?.. И неужели самооправданье столь необходимо, что жертвуют ради него ясностью рассудка?.. Предомною выбор: смерть или безумие? Только рехнувшись, смогу я оправдать себя. Но что будет со мною, если не помрачу я рассудок и, не оправдав себя, сохраню всё-таки свою жизнь? И такое ведь, наверное, возможно. Вразуми, Господи!..»

Священник резво устремился в спальню и, преклонив там перед иконами колени, залопотал молитвы. Он клеветал на клир, сетовал на судьбу, роптал на Бога и просил избавленья от душевных мук... Наконец священник почувствовал голод и поспешил на кухню перекусить. Он хлебнул белого вина из горлышка бутылки и начал кушать копчёную осет-

рину...

Эмиль остановил лимузин у поповского дома на кладбище и помог Лизе выйти. Вдруг она увидела на могиле чёрного лохматого пса и замерла. Кладбище было без ограды, за ним начинался смешанный лес. Пёс облизнулся и побежал, хромя, через кладбище к лесу по песчаной дорожке. Лиза усмехнулась и пошла за собакой прочь от поповского дома. Эмиль последовал за Лизой, и они вошли в лес вместе; обоим захотелось оттянуть встречу с попом. Брели они по жухлой и прелой листве, под ними порой хрустели сухие сучья. Всюду были следы безалаберной рубки деревьев и причудливые корни корчёванных пней.

Лес был загаженный, мусорный и вонючий. Они увидели битые кирпичи, тряпьё, осколки бутылок и оконных стёкол, металлическую утварь, рваную перину в крови, использованные веники и метёлки,дохлую серую собаку, ржавые трубы, хворост, известь, брёвна, золу из кострищ, рухлядь, консервные банки и множество грязных обрывков газет.

Парочке было любопытно узреть всё это; особенно увлёкся Эмиль: он подошвою пинал смрадную собаку, ворошил ногами всякий хлам и даже хватал обрывки утлых газет и с хохотом читал заметки из них. Сначала Лиза высокомерно наблюдала за ним, но затем и сама увлеклась. Она находила обломки кукол и брала их в руки, совсем не брез-

гуя ими. И было ей приятно в руках вертеть кукольные головки, ножки и тельца, а затем их ронять и давить их каблуками. Эмиль громко зачитывал на клочьях газет самые высокопарные и победные тирады; он, хохоча, посматривал на Лизу, и вдруг она сама рассмеялась между сорной канавой и огромной лужей...

В кабинет Воронкова плавно вошла в сиреновом платье осанистая смуглянка со свежим лицом, короткою стрижкой, носом с горбинкой, родинкой возле левого уха, низким лбом и очень умело на помаженными губами. Женщина была гибкой; сверкали ожерелье и серьги. Медленно обнажились в её улыбке белые мелкие зубы, и дама павою приблизилась к Воронкову. Он же почуял запах любимых своих духов и с улыбкой указал перстом на кресло супротив себя; дама уселась уверенно и спокойно. Звалась она Ириной, и владела она цементным заводом, харчевнями, корчмой и гостиницами.

Она положила на стол перед Воронковым свою левую руку и шевельнула пальцами, кои были унизаны кольцами с рубинами. Воронков, важничая, мял и теребил почтовые конверты, обильно обклеенные аляповатыми марками. Он начинал уже злить Ирину, поскольку никак не хотел он понять своё истинное положение и место в их сообществе и всё ещё мнил себя её начальником...

Стоял Воронков в государственной иерархии, разумеется, выше её, но ведь была и скрытая, потаённая власть. И во властной тайной иерархии стоял он ничуть не выше охранника своей гостыи. Воронков доселе не возжелал этого понять, и теперь решила она жёстко вразумить его...

Порой она ерепенилась: почему он вольничает? Он дол-

жен обеспечивать переход ценностей государства и народа в их личную собственность, беря за это умеренную лепту. И он должен обуздывать народ. Всё остальное – недопустимая вольность.

А он, как олух, отдал великолепный кабак суетной дуре! Какая ж она стерва и нахалка! Если ей потакать, то оравы чужаков обнаглеют...

И всё же порой он был ей симпатичен, хотя б уже тем, что не мешал он своей супруге дивным теремом украсить город. И за это с Воронковым можно слегка понянчиться. И серьёзно она заговорила о деле:

– Чистоплюи-газетчики мне докучают... клеветуют, жужжат, облыжно изгаляются... Нужно их денег лишить из городской казны... и уж, пожалуйста, без балагана и прений в нашей окаянной местечковой думе. Кавардак не нужен в администрации. Нищета быстро образумит писак... и шабаш... более не заартачатся... А послушных поощрим призом или премией на ближайшей ярмарке... Организуем редакторскую чехарду...

– А статеечки хлёсткие, – заметил он ехидно. – И всё же не паникуйте, не кипятитесь... И клёкот их вороний мы прекратим, и крылья им острижем, ломаем...

– Но ведь пасут они даже вас, очень скоро и на вас помои хлынут ушатами из плесневелой бани. А зиждется на вас многое...

– И всё-таки не нойте, – произнёс он. – У меня своих

сложностей целые обозы.

– А вы не боитесь, что в одиночестве будете вы настолько уязвимы для поклёпов, нещадных дрызг и мщенья, что порошком, пудрою вы развеетесь?

Она пытливо на него глянула, и он слегка струсил: в ней он почувствовал власть. И вдруг его осенило, что в потаённой, скрытной иерархии власти он ниже своей гостью. А затем подумалось ему:

«А если и мои покровители так же ниже её?..»

Она же смотрела на свои перстни и размышляла о нём:

«Он и оратор пышный, и составитель бумаг прекрасный, и в делах, на поприще скрупулёзен. Но ведь он способен и возразить: всё, что угодно, мол, но только не это. Я же сама исключений в средствах не делаю, нравственных препон у меня нет, и он обязан стать таким. Любой ведь желает низвести других до такого нравственного уровня, на каком сам находится. Иначе и обидно, и мучительно... И приятно человека превращать в грязь, если сама – слякоть или слизь в корыте... Жесточе всего людям мы мстим за то, что предали мы их. Пускай и он предаст...»

Часто попадала она часто впросак, действуя по плану, заранее обдуманному. Но она, поступая по наитию, почти никогда не ошибалась. И вдруг теперь по наитию она велела:

– Вам не надо, подобно чистоплюю, от Марины шарахаться, и всё уладится тогда. Приятно будет и вам, и мне. Не рейте самомнением в поднебесье. На высях всегда зыбко. И вы

уймите, наконец, борзописцев и скоморохов. Глупо нам потрафлять брюзгливому их гонору. Турните их из газет. Если мы позволим врагам рыпаться, то сами сгинем.

И вдруг он понял, что отныне ретиво будет он исполнять её приказы.

И шустро он согласился уменьшить для её завода газовый тариф, а затем они весело за кофе шутили и сплетничали, пока, наконец, она не простилась церемонно и с достоинством...

Священник уселся в мягкое кресло у окна и задумался:

«Почему с Лизой я расточителен, и зачем отдал ей все деньги, предназначенные для покупки иконы строгановского письма? Ведь нет у меня золотых россыпей...»

Священник задумался о возможности своей любви к Лизе и вдруг хохотнул:

– Какая уж там любовь, – бормотал он хрипло. – Я квелый и хворый. Скоро распнут меня на больничной койке. Стану я бранным прахом до набуханья почек и бутонов.

Его всполошили раздумья вслух, и озабоченно вскрикнул он:

– Как бы такое при гостях не брякнуть!

Затем успокоился и подумал:

«А ведь я едва не убедил себя в том, что люблю её. Уж не хочу ли я поверить в то, что я не зря деньги на неё растранжирил? Впору подушку грызть до пуха, словно опять всучили мне икону-фальшивку, якобы семнадцатого века, и это при моей-то опытности! И ведь я обманулся потому, что очень мне хотелось иметь такую икону. Вероятно, и с Лизой у меня подобное. Неужели я теперь чепуху выдумываю, чтоб денежек не жалеть?..»

Он печально усмехнулся и покачал головой:

«Забавная штука ум. И полезен, и опасен. Иногда при-

носит выгоду, но и владельца своего одурачить может. Порой глупость очевидную, чтоб себя не клясть за неё, гениальностью почитать заставит. Подлость непристойную сделаешь и за неё поначалу на себя куксишься, а покумекаешь, обмозгуешь и вдруг поверишь, что поступить иначе нельзя. И даже поверишь, что пользу принёс кому-то. Человек, одураченный мною такой, мол, охальник, что любая гадость ему не зазорна. Даже мысли философские возникают: зло-де полезно тем, что в бореньях с ним люди совершеннее делаются. И вот уже не окаянным ярыжником считаешь себя, но мстителем за пороки; впору дивиться, как нимб ещё не появился над башкою, да в святцы не записали. И всё потому, чтоб избежать мук душевных...»

«А от чего муки душевные? Почему ненавидим, жалеем, стыдимся, любим так, что почечные колики лучше?.. Почему от любви страдают?.. Если во мгле с тобою блудница, но веришь ты, что любимая с тобою, то несравненны улады. А если наоборот – то жалкое удовольствие. Значит, причина не в телах, а в душах...»

«Но что же такое душа, если её богословское определение отвергнуть? Неужели наши мысли и память? Нет, они – разум. А душа – сила нашей любви к себе. Можно себя любить трусливо или гордо, похотливо или целомудренно. Человек, как и Бог, един в трёх ипостасях: тело – Бог-отец, разум – Бог-сын, а любовь к себе – Бог-дух святой. Но любить себя можно только за то, за что меня любят другие лю-

ди... И не телу моему нужна Лиза, оно и блудницей обошлось бы, но душе моей необходима душа этой странной и сумрачной девушки с горестным и надменным лицом... Зачем мне душа её? Неужели лишь для того, чтоб низвести её душу до мерзости моей души? Я-де осквернился ради денег, так пусть и Лиза ради них марается... И почему гадкие люди стремятся осквернять?.. А вдруг я окончательно перестану любить себя, если не спасу Лизу?.. Ведь она была со мною страстной! Она оказалась человеческой! Возможно, не деньги ей нужны, хотя хорохорилась она, бедная, требуя их. А ночная исповедь её! Ведь музыка это! И как внимают игре Лизы в кабаке! Воистину, безмерно щедро одарена она. Я не смею погубить её, как и спалить древнюю икону или себя оскопить. Породили понимание этого мои страдания... Я не могу погубить красоту, искусство... ограбить мир... Иначе, зачем я душу свою сгубил за коллекцию? Если я считаю себя ценителем искусства, то я должен спасти Лизу... Иначе я пойму, что коллекцию я собирал из алчности, и вконец разлюблю себя...»

И он задумался о способах её спасенья...

Кира в бирюзовом халате с кистями поучала в гостиной свою дочь Лику. Дочь в алом коротком платье расположилась в золотистом кресле, а мать на голубом диване. Кира пожурила дочку за мотовство, и та ответила:

– Коли у тебя не хватает денег, то не стану я реветь в подушку. К отцу я поеду.

– Зачем? – спросила мать, робея.

– Повидаться с отцом... это ведь естественно... И нельзя порицать за это...

И Кира с грустью произнесла:

– И ты полагаешь, что обрадуется он тебе? Отнюдь, ты ему безразлична. Ещё не родившись, ты ярмом ему казалась. И очень настаивал он, чтобы ты не родилась.

И лицо Лики на миг исказилось, и она молвила отрешённо:

– Значит, я живу только потому, что вы не смогли договориться. А если б вы договорились, то меня б и на свете не было.

«А ведь так, пожалуй, и есть», – подумалось матери вдруг. И Кира принялась негромко стенать с дивана:

– Но я же тебя люблю, лелею. Мне и любить больше некого. Ах, Лика, Лика... я ведь чую: неладно с тобой:

Дочь перебила:

– Я ведь не любила отца, хоть и не был он со мною строг. Но если он видел, как ласкаешь ты меня, то заметно свирепел. Наверно, только для его досады и ласкала ты меня. А теперь некого тебе злить своей нежностью ко мне, и тебе я больше не нужна. Пусть так, но есть кому приласкать меня. И, возможно, будет им тот, кто появился у тебя наемни...

Кира вся напряглась, села прямее и высказалась:

– Но разве пожелаешь ты быть околпаченной девицей? Замызганный червонец станет дороже, чем ты. И вечно будет в душе твоей свербеть, что не смогла ты себя выгодно продать. Даже честностью, бескорыстием торгуют. Продаются храбрость, верность, усердие, ум. Один по торгам шляется, очи, долу потупив, нет ничего у него, кроме скромности, и он продаёт её. И будто внушает он: «Купите скромность мою, верным холопом стану, и не посмею я притязать на большую долю, чем милости вашей благоугодно будет мне пожаловать». Другой продаёт бессовестность, полезную против врагов покупателя. Продаётся и благородство, и искренность... А мужчины, не скупясь, платят только за то, что возвышает их в общественном мнении. И щедры они бывают только с престижными женщинами. А ведь ты ещё не такая... Себя продают все, это неизбежно. Но глупо себя продавать по цене футляра без учёта стоимости драгоценностей, которые там хранятся. Вообрази, что продала ты по неведению рисунок да Винчи по цене билета на скачки. Ведь себя ты всю жизнь корить будешь. А ведь твою неповторимую, единственную

жизнь продать ты сможешь только один раз. И вообрази, как себе ты мстить станешь, узнав, что продешевила...

– А разве себе можно мстить?

– Да. Твой отец посвятил этому всю жизнь.

Лица пересела к матери на диван, и та поняла, что дочь отныне будет ей доверять. Потом они поболтали о пустяках, и вскоре Лица, поцеловав мать, исчезла в своей комнате. А Кира вдруг задумалась о Воронкове...

А супротив Воронкова уже на стуле притулился, ёрзая, вихрастый, одутловатый и смуглый журналист в осыпанном перхотью буром свитере. Задорный писака взялся поучать своё сердитое и зевающее начальство:

– Вы желаете, чтоб народ воспитывали, а не подстрекали. Но бесполезно, бесплодно народ воспитывать. От народа правители хотят покорности, а тому нужна от власти разумная распорядительность. Литератор может на потребу властей внушать народу необходимость безропотного терпенья, рвения в работе и весёлости до глупости. Но творить такое – зря бумагу корябать. Нельзя в очереди уговорить людей не пихаться... Но можно вместе с народом побуждать правителей к полезным реформам и переменам... Во вселенной есть «чёрные дыры», попаданье в них – погибель для любой звезды или материи. В подобном зиянии, в чёрной прорехе канули навечно произведения тех писателей, которые воздействовали сверху на народ, тщетно пытаясь развить в нём качества, угодные начальству. Не только народ, но даже кобылу нельзя навеки в шорах держать...

И Воронков, поскобливая ногтями виски, почти жалел болвана-писателя, который очень скоро утратит свою газету, а заодно и работу...

Эмиль расположился в высоком и мягком кресле у окна, Лиза уселась на диван, а хозяин прикорнул рядом с нею. В гостиной было сумрачно и тепло.

– Лиза, – сказал священник, – я желаю всё объяснить. Эмиль хочет вас обменять на мою прихожанку, которая сегодня обворожила его в церкви. А вы начали меня избегать...

– Плесните мне в бокал вина, отче, – попросила Лиза. – Тошно мне... зачахну...

Священник с улыбкой вышел.

– Что такой смурный? – вспльчиво спросила она. – Неужели, правда? Я исцарапала б тебя, тумакон отвесила б...

И внезапно появилось у Эмиля понимание того, что прихожанка, встреченная сегодня в церкви, оказалась очень похожей на сгоревшую девушку с горного кордона деда...

– Казалось мне, что навеки для меня ты потеряна, – оправдывался Эмиль. – И захотелось мне спасти юную богомолку...

– От чего хотели спасти её? – встрял священник, входя с серебряным подносом в гостиную. На подносе мерцали три хрустальных бокала и запотевший графин с белым вином. – И какое жестокое лихо грозит невинному, скромному чаду?

– Лицемерие ваше, – произнёс Эмиль. – И ведь глупо в окаянные наши дни по церквам мыкаться и перед иконны-

ми досками ползать.

Священник водрузил поднос на белую скатерть и наполнил бокалы. Первый бокал поп дал Лизе, второй – Эмилю, а сам, присев у столика на пуфик, начал смаковать вино. Лиза выпила свой бокал и протянула его священнику. И поп суетливо вскочил и принял бокал с лёгким поклоном, посмотрев умильно в глаза ей: дескать, не желаете ещё? И она отвела глаза, а Эмиль, допив вино, поставил бокал на подоконник.

Священник опять присел за столик и, отпив глоток, возразил Эмилю:

– Но зачем отрешаться от веры в Бога? Допустим, что нет Бога. Но что можно предложить юной сиротке Майе взамен веры её во Христа? Неужели веру в доброту и справедливость людей? Полноте! Добрым и справедливым бывает лишь сильный. Уразуметь пора эту истину. У нас же никто не уверен в грядущем, и поэтому слаб... То ли пойдёшь калыкой нищим с сумою-торбой побираться, то ли сигары тысячные покуривать будешь. Христос безгранично добр лишь потому, что всемогущ...

– А библейские цари-изверги? – спросил Эмиль, заинтересованный его суждениями.

– Изверг-царь не всемогущ, – ответил поп, – ибо нет у него выбора между добром и злом. Но если вы обречены творить только зло, то в чём ваше могущество? В безмерности вами сотворённого зла? Ну а если творите вы зло от стра-

ха и по принуждению? И возможно ли быть всемогущим, не будучи свободным в выборе между добром и злом? Изверг-царь мелок, ибо человеки для него пыль...

Священник покашлял, повертелся неуклюже и продолжил с одышкой:

– Познание истин неизбежно, как смерть, но всегда ли смерть – благо? А если и благо, то для кого? Екклесиаст изрёк: «Кто умножает познания – множит и скорбь». Мука познания побуждает найти истину, но потом начинают страдать те, чья вера в собственную их правоту рухнула после научного открытия... и часто вместе с их престижем... и за это мстят они немилосердно первооткрывателям...

И вдруг священник порывисто пересел на диван к Лизе и, почёсывая бороду, призадумался угрюмо. Лиза испытующе посмотрела на Эмиля: тот ухмылялся и морщился в кресле. И подумалось ей: «Священник прав... я злая потому, что бессильная...» Наконец, священник спросил Эмиля:

– Внушить вы хотите наивной отроковице свои идеи, но разве вы сами счастливы с ними? А вдруг сеять и внедрять свои идеи вы пожелали только потому, что от них вам – сплошное горе? Пусть от них, мол, и другие пострадают! Есть и такая форма мстительности...

Эмиль угадал намеренье священника не отдавать ему прихожанку Майю и ничуть не удивился. Разумеется, попу нет нужды выполнять своё обещанье, если он уже заполучил Лизу. Огласка сопричастия попа к соvrращению юницы опозо-

рила бы пастыря. Ведь могла она поведать прихожанам, кто свёл её со скабрёзным Эмилем. Но, понимая всё это, Эмиль не сомневался, что сумеет принудить попа отдать обещанную девушку. Пугнуть попа можно было разоблачительными статьями в газетах; Эмиль-де сам напишет пасквили. Если же поп не убоится газетной хулы, то Эмиль напугает его своими кулаками и мускульной силой.

Эмиль легко встал и прошёлся по гостиной, хвастаясь перед больным и грузным попом своей молодой статью. Эмиль же показался попу способным на всё, даже на побои... Стоя перед парочкой на диване, Эмиль предостерёг:

– Коварства я не потерплю, мы с вами, отче, условились. Я выполнил обещание, за вами черёд. И прекратим торг.

Священнику стало страшно, но принудил он себя встать и гневно нахмуриться. Эмиль подошёл к нему и столь сильно стиснул его ладони, что поп от боли прикусил нижнюю губу.

– Перестань немедленно! – вскричала Лиза. – Зазорно такое!

– Я не намерен шутить, – снова предостерёг Эмиль и отпустил священника. – Скажу я без обиняков: искалечу, но получу своё. Условия игры должны соблюдаться, карты перетасованы и сданы, поквитаемся честно.

«Так вот почему я был уверен, что поп мне отдаст юную богомолку, – думалось Эмилю. – С самого начала была у меня готовность увечить его, но я до поры не признавался себе в этом. Поп – не партизан, колотушек не выдержит...»

– Вы сильнее, – признал кисло священник, садясь на диван. – Но не могу я накануне смерти творить подлость.

– Мучить буду, – буркнул Эмиль, расхаживая по гостиной, – будь вы даже на смертном одре.

И вдруг Эмилю очень захотелось понять священника, который теперь казался ему совсем иным, нежели утром в часовне. Неожиданно Эмилю припомнились слова священника «накануне смерти», и было удивительным звучание этих слов: обречённо-глуховатое, тоскливо-утробное, но ведь и радостное, словно со смыслом: терять мне уже нечего, и теперь я смею поступить по совести. «Почему священник перед смертью не желает сделать подлость?» – озадачился вдруг Эмиль и мучился, не находя ответа.

И задумался Эмиль, почему накануне смерти даже отъявленные, закоренелые злодеи поступают порой по совести, каюсь и искупая свои грехи? Эмиль уже поверил в скорую кончину священника, но не в страх его перед геенной огненной в аду, ибо хозяин дома казался гостю совершенным безбожником. И предположил Эмиль, что каждый по натуре добр, а к злодействам побуждают дурные влиянья, но не доступен умирающий чуждым воздействиям, ибо нечего больше ему терять, и поэтому врождённая его склонность к доброте торжествует...

И внезапно Эмиль топнул ногой и предложил:

– Давайте побудем искренними. Ничем не грозит нам это: о друг друге мы уже думаем хуже некуда. Попытаемся друг

друга понять. Фёдор Антонович! Пастырь-гуртовщик! В часовне были вы готовы отдать мне ярочку из стада, я чуял это. И если б тогда мысли о надувательстве были у вас, то ощутил бы я их. А теперь я смекнул, что не хотите вы отдать мне девочку. И что с вами, отче, стряслось за это время?... Ответьте... Уверен, что пойму вас...

Эмиль снова уселся в кресло у окна.

«Поп теперь откровенно ответит, – думала Лиза, – ибо он истомлён жаждой исповеди, как и я в ту ночь с ним...»

И не ошиблась она, и священник, изумляясь собственной искренностью, высказался начистоту:

– Мне расхотелось творить зло... После вашего ухода, Эмиль, я вдруг понял, что умру очень скоро. И сразу утратил я всякий страх, ибо ничто не пугает обречённого. И я без страха стал добрее... В преддверии смерти освободился я от чуждого влиянья, и сразу пожелал я сделать добро. И, значит, каждый от природы добр, а злое в нём – от общества и обстоятельств... Я теперь иначе воспринимаю мир... У любого имеется мучительное стремление к ладу с обществом... Жажда самооправдания порой непомерна... Всякий себя любит сильнее, нежели прочих, и склонен он других винить более, чем себя... Вождь, убивая своих соратников, чувствовал свою подловатость, и хотелось ему верить, что они гораздо подлей его. И принуждали узников клеветать на своих родственников. У стремянных вождя, которые ещё оставались на свободе, гноили в заложниках жён и бра-

тьев по тюрьмам и зонам... Себя же оправдать легче всего, если обвинить других. И вот поражения в войне объяснил вождь не своими ошибками, а изменою бойцов, угодивших по его вине в плен. Вождю, как и любому, хотелось самооправданья...

Священник соскочил с дивана и рассуждал, снуя по комнате:

– А опричники вождя, мелкие тати и стремянные? Ведь им также нужно самооправданье! Лучшие из них сами себя казнили, а прочие оправдывали себя, сколько возможно. Сначала себя оправдываешь тем, что ты мудрей и сильнее других людей, а затем уже тем, что они мерзостны, как и ты. Но, наконец, наступает срок, когда уже нельзя себя оправдать... И человек перестаёт любить себя... он преступил грань...

Священник высказывался, будто бредил:

– Всегда властелины хотели, чтоб каждый из подданных перестал уважать и любить себя... и людей дурманили завистью... А всякое чувство нудит к действию, и завистники неуёмны. Любой оценивает себя, сравнивая себя с другими людьми, и если сравнение не в пользу его, то оно мучает. И вот приходится либо самому тянуться вверх за тем, кому завидуешь, либо низвести его, погубив. И частенько норовит государство избавиться от мыслителей руками обывателей, предоставляя возможность губить таланты изветами. А коли погубить талант легче, нежели с ним сравняться, то не пре-

минут его уничтожить. И поощряет дурное государство это, ибо так ему выгодней избавляться от смутьянов-мыслителей... Но главное, чтобы каждый перестал уважать и любить себя... Уничтожая из зависти, перестанешь себя любить... и преступаешь грань...

Закатное солнце позолотило убранство гостиной. Священник уселся на диван рядом с Лизой и обнял её за плечи. Она прильнула к священнику, чуть морщась. Во дворе таякнула собака, и пропел петух. Эмиль расслабленно сидел в кресле у окна, закрыв глаза. И священник заговорил с усмешкой:

– Сравнима власть с обладанием женщиной. Ведь можно женщину изнасиловать, коли она беззащитна; извинительно обмануть, ежели глупа; не зазорно и купить, если порочна, но способна она и сама полюбить. И добиться её любви, не обманывая, – выгоднее всего. Насильнику придётся её стеречь, обманщику – натужно притворствоваться, а покупателю – платить снова и снова. И только любимому прощают даже его жестокость... За всё в мире рано или поздно придётся заплатить истинную цену; она – затраченное время на достижение цели. А наше время – это наша жизнь, и мы платим ею. И нам платят жизнью, и в миг, когда мы отдаём, то мы и получаем. Никто не посвятит тебе жизнь, не получая взамен ничего... Извечный вопрос, что приятнее: духовная свобода или власть, не сможем мы разрешить, не применив понятие времени...

И священнику вдруг подумалось: «Хоть мои речи и разум теперь не спотыкаются, но здесь я зверею...» И себя ощутил поп скотом перед закланием... Эмиль очнулся и угрюмо посмотрел на парочку на диване; священник продолжал витийствовать:

– Нам более приятен плод упорных и долгих усилий, чем кратких и спорых. И скорее толпа раболепной будет перед чурками-идолами, чем даст она избранным творцам духовную свободу. На свете много властителей, но воистину свободных людей мало. И достичь духовной свободы трудней, нежели власти. И поэтому свобода сладостней... Устремленья свободного человека не бывают подлыми, но укор себе видит в них чернь и, завидуя чужой вольности, препятствует им... И вы, Эмиль, поступаете плохо только потому, что вы не свободны, ибо нет у вас выбора между добром и злом...

– А давайте я опишу свои ощущения той ночью с Лизой в горах, – предложил Эмиль, – и вы рассудите, отче, свободен я или нет.

Священник согласно кивнул; Лиза напряжённо взирала на говорившего Эмиля.

– Она сама вышла ко мне во двор, и мы пошли вдоль реки. И я прогнал псину... И показалось мне, что смогу я полюбить только эту девушку и лишь в эту ночь. Я хотел прошептать ей стихи, но мои глаза невольно искали место, где могли бы мы лечь. Мне захотелось ей исповедаться, но я увлёк её к копне сена. И сама девушка легла в сено, и я, склонясь

над нею, понял, что я у неё первый любовник. И мнилось мне, что Лиза гениальна, и что дар её разовьётся и расцветёт, если я сейчас не трону её. Но, тронув, уподоблюсь паршивенькой слабой шавке, той, что, наблюдая за грызнёй лютых псов, увидела вдруг мозговую кость, отброшенную их лапами в сторону; шавка трусливо хватает пищу и прыскает прочь... И я смотрел на облуненное лицо, решив сохранить ей девственность. И я возгордился этим своим решением, и казался я себе вдохновенным и сильным. Я посмотрел на её руки и понял, что она – пианистка. Я весьма наблюдателен и знаю, какие руки у музыкантов. Я хотел потолковать о мазурках Шопена, о странной гибели Чайковского и Скрябина. Я предвкушал доверительную беседу. И у меня дрожали губы от несказанного удивленья нечаянным счастьем... И вдруг нечто утробное швырнуло меня на девушку, и при этом я по инерции гордился своим благородством. И вдруг появились у меня мысли о том, что полезно ей избавиться от иллюзий.

Священник молвил:

– Знакома мне казуистика оправданья самого себя.

– Прав был я! – вскричал Эмиль и вскочил из кресла. – К чему привели бы стихи и доверительная беседа? Да разве красивой дочке главы окаянного города сохранить благородство?! Такая девушка обречена пасть. Вокруг неё запорхают порочные красавчики, а подруженьки лукаво хулить станут целомудрие и славить сладость греха. И не помогут ей ника-

кие назидания и Божьи заповеди. И Лиза это предчувствовала, и была в ней уже зараза растленья. И если б она досель ещё верила в благородство, то вела бы себя здесь весьма глупо...

– Обо мне не болтайте так, будто меня здесь нет, – оскорбилась она. – И не будьте развязны. Я вольна сама судить, что на пользу мне. И всё-таки я верю, что хотелось Эмилю ночью в горах и доверительной беседы, и духовной близости. И страшно было ему поддаться нечестивому искушению, и боялся он, что одолеет у него похоть благие порывы. Но ведь боялась и я выйти к нему во двор, и всё-таки оказалась я там. И я боялась отдаться вам, отче, но это стряслось... Свой страх одолели мы... Ведь изменяют не из страха за свои благополучия и жизнь, а потому что боятся предать...

Она виновато глянула в глаза Эмилю; у него ослабели колени, и он плюхнулся на диван рядом с попом. Отодвигаясь от Эмиля, поп прижался к Лизе; и вдруг священнику показались кривляньем и обряды в храме, и проповеди, и особенно маханье кадилом. И теперь священник не мог никак уразуметь, почему нелепое поведение казалось ему прежде исполненным высокого смысла. Почему восприятие мира было у него исковерканным?.. Догадка уже брезжила в сознании, но было и предчувствие муки от неё, и поп, чтобы забыться и не узнать страшную правду, опять разглагольствовал:

– И ещё штрих. Разум порой дремлет, улажая своего хо-

зьяина грёзами, но лишь до поры, пока не заметит потерю владельцем уважения или власти. И тогда ум начинает мыслить, как голодный жрать. И я теперь буду созидать лишь нравственное... на совести здоровье зиждется...

Эмиль ехидно спросил:

– И какой же материальный плод, отче, ваших раздумий?

– Спасенье, – ответил поп, взирая перед собою в окно на золотистое небо. – Я спасу Лизу... останется она у меня... И буду я верным её сторожем... И не дам исковеркать юницу Майю... Караулить буду, Эмиль, от вас...

– Поздравляю я вас, – проворчал Эмиль, ёрзая на диване. – Лизу впечатлили ваши речи. Ишь, как притихла. Раньше вы деньги ей платили, а теперь нравоученьями обойдётесь. Несомненная выгода... Но, Лиза, подумай: а вдруг он врёт о своей скорой смерти, и ты в ожидании его кончины и завещанного тебе наследства растрянжиришь на него свою молодость?

Лиза мельком посмотрела на священника, и тот уловил её настороженные взоры и понял, что она усомнилась в его искренности. А затем в своей искренности и сам священник усомнился. Неужели он, пастырь, распинался словесно только для того, чтобы Лиза, прельщённая благостным красноречием, отказалась от денег в оплату за близость с нею? Подобное с попом уже бывало, и теперь ему вдруг стало стыдно. Именно такой его стыд убедил священника в собственной искренности. И поп, воспрянув, повернулся к Эмилю и ска-

зал:

– Я теперь знаю, как приятно и легко творить добро, и сколь сладостно каяться и говорить правду. Всю мою жизнь искал я оправданий самому себе, а теперь понял, что их уже не найти. И вознамерился я творить добро, и я счастлив, и мне легко теперь. Я впервые поступил по своей воле, поняв накануне смерти, что всегда я исполнял хотенья других людей. Священником я стал по воле родителей, по выбору их сватался и женился, ибо холостяку не давали приход. Кошмарная мысль, Эмиль, но я даже распутником стал по чужой воле.

– Лжёте, – усомнился Эмиль, – уж такого не бывает.

– Только так и бывает, – уверял его поп. – Назовите хоть одного счастливого распутника. А сами вы счастливы, Эмиль?.. Только чуждое злое влияние принуждает оскверниться впервые. А всё потому, что пресыщенному негодю сладко наблюдать, как невинное дитя уподобляется ему. Но почему приятно это?..

Эмиль торопливо изрёк:

– Потому, что самая великая улада – это власть над умами людей. И именно этим приятно господство, – а не внешней покорностью... И строго бдели властители, чтоб не думали рабы иначе, чем они сами...

Эмиля истомили его новые мысли, и ему показалось гораздо более важным усмирить их лавину, нежели утолить свою чувственность. Эмиль уже боялся спятить... он поры-

висто и молча, встал и вышел в сени, а затем и за порог...

Вскоре священник и Лиза услышали гул отъехавшей машины...

Воронков осанисто и споро подписывал служебные бумаги и пёстрые юбилейные грамоты; вальяжно принимал он лебезящих подчинённых. Пополудни Марина принесла ему в кабинет на узорном подносе обед: наваристые щи с голубями и со сметаной, свиную котлету с рисом, пресные блины, горькие стручки зелёного перца, салат с огурцами и помидорами, солёный сыр, мятный пряник и брусничный кисель. Воронков поел со вкусом, неторопливо; звонком позвал он Марину, и она унесла посуду... Закурив чёрную кривую трубку, он развалился в кресле...

Было ему приятно, и вздыхал он сладостно. Он ещё не понимал: отчего приятность?.. и весело озирал свой кабинет... И был Воронков другим, нежели утром. Уже нельзя было определённо сказать: добряк он или злющий, упрям или мягок, совестлив или порочен. Можно было говорить только о том, что в это миги он совестлив и добр, а сейчас душевно мягок с просителем, но превратится ночью в порочного монстра. При необходимости он мог совершенно искренне считать верной ту идею, которую ещё вчера рьяно отрицал; собеседник был приятен по мере нужды в нём. У Воронкова не осталось уже ничего, чем не мог бы он поступиться; ощущая это, он радовался. Разве совесть и здравомыслие не помеха в карьере? Нужно уметь и клеветать, и подлизы-

ваться, и удить награды у государства, и вовремя переметнуться к врагу. Ведь такие поступки – проявление деловитости, а не кощунство... Если личность – это мощь сопротивления чужой воле, с которой не согласен, то он уже перестал быть личностью. И что же?.. небеса разверзлись?.. вселенский мор начался?.. Вовсе нет... ничего не стряслось!.. Пока народ в пренебрежении, служить ему незачем. Но если народ обретёт вдруг силу, то он, Воронков, немедля станет его вернейшим радетелем, сохранив этим для себя бразды правленья.

Затем он задумался о Марине: ведь её, несомненно, заставляют на него доносить. Её принуждают соблазнить его, ибо любовницей легче за ним надзирать. Её, наверное, теперь даже корят за мешканье с его совращеньем. И, возможно, ей даже грозят, и бедняжка нервничает. Не нужно чересчур её томить. Она полезна, вежлива и дотошна, и поэтому следует поощрить её.

Звонком он позвал её к себе, и она пришла; Воронков пригласил её в свою комнату отдыха...

Марина присела на широкую тахту с белой простынёй. Серебристые занавески на окнах были опущены, и сквозь ажурную плотную ткань слабо проникали лучи закатного солнца. Серебряно-золотистый сумрак очаровал Воронкова; подсвеченные бутылки в баре напоминали иконостас в церкви. И вспомнилась Воронкову ночь на зимней даче у покровителей, и он замер... Затем он солидно уселся рядом с нею,

и она слегка скуксилась...

Она не спеша раздевалась на середине комнаты, и он гордился своей причастностью ко власти, сумевшей столь безупречно вышколить и приструнить Марину. И вдруг испугался он полной её покорности, и показалось ему, что и Марина – часть той силы, которая сломит его волю навсегда.

И, не раздеваясь, он овладел Мариной, а потом пошёл в кабинет, где рассеянно теребил бумаги. Пришла Марина, уже одетая, и властно уселась она ему на колени, и он смекнул, что этим она закрепляет свою победу над ним.

– Баловница, егоза, – бормотал он и усердно её целовал. – Милая бестия...

Затем с улыбкой она ушла от него, хлопнув дверью, и он опять полистал бумаги; его ощущения поначалу были неопределёнными: наряду с неуважением к себе была и приятность, и он то супился и пыхтел, то посмеивался. Наконец осталась у него только приятность, и он широко и довольно ухмыльнулся...

Именно эту ухмылку и заметила Марина, войдя внезапно к нему в кабинет. И она ослабилась и подумала: «Порола бы кнутом эту сволочь, кости поганые ведьмой разметала бы...»

И она столбенела перед ним, взирая на его ухмылку, которая никак не сгонялась с его лица... Она вышла из кабинета, не сказав ни слова...

Затем позвонил он по телефону Кире и отменил свой сегодняшний визит к ней...

За окном смеркалось, но свет в доме попа ещё не горел. Сидели они в гостиной рядком на диване. Священник по-смастривал искоса на Лизу, мечтая постигнуть её мысли. Заводил он речи о музыке, Боге и своей коллекции, но отвечала Лиза односложно. Она явно пыталась решить для себя некий мучительный вопрос, и вдруг принялась она размышлять вслух:

– Я понимаю: Эмиль чрезвычайно хотел поменять меня на ту, кто будет ему беспредельно предана. И благословенье ваше, отче, помогло б ему достичь такой преданности. Но он любит лишь меня.

И священник с сомнением покачал головой, и Лиза заметила это.

– Не дивитесь, отче. После ухода Эмиля, я упорно размышляла об этом, пренебрегая вами. И я поняла, зачем Эмилю нужна ваша прихожанка, ведь и у меня такое же душевное состояние, как у него...

В гостиной сгустился сероватый сумрак, и включил священник напольную лампу с серебристым тенником, а Лиза пересела в кресло у окна и глянула в кладбищенскую мглу.

– Когда в комнате горит свет, кладбище неразлично, – молвила она. – Часто, наверное, вот так вы сидите в кубле своём. Сейчас мне чудится, будто двойник взирает на меня

с погоста. И оконные стёкла странные... И отраженье взирает на меня так, будто я уже умерла, но, восстав из могилы, явилась к дурочке, которая ещё живёт. В этом кресле ночью жутко грешнику. Особенно, если пурга, буран... Боже! – вскричала она, – неужели у меня и впрямь такое лицо?!

И он ей пояснил:

– Заметил я странный эффект, и я усилил его, подобрав стёкла.

Она в кресле обернулась к нему.

– А хотите, отче, я скажу, зачем всё это?

Он не ответил и не отвёл взора.

– Скажу, отче... Приведёте блудницу, всю пресыщенную, и пожелаете пробудить человеческое чувство в ней: так больше с нею приятства, да и телесные ваши изъяны благостью речей скрадываются. И вот сажаете вы её во тьме в кресло это, и включаете свет такой колдовской... И знает она, что за окном – кладбище. И невольно, хоть раз, но взглянет она в ночное окно. А светотень так устроена, что любое лицо скрадывается, и воображение вспыхивает... А за окном-то погост, и поэтому мысли о смерти неизбежны... И как не проснуться человечности!.. И нету сил таскать личину!.. И страсть возникает к покаянию и исповеди... Как у меня!.. Как у меня!.. А вы уже наготове, пастырь. И ляжки ваши, и чресла...

И она заметила, как он усмехнулся.

– Я угадала, я права, – молвила она уныло. – И главным

наслаждением Эмиля с прихожанкой были бы не ласки её нежного тела, а предвкушение того, что скоро она разуверится во всех своих святынях. Эмиль совратил бы её мастерски и без вашего соучастия, но захотелось шельмецу разуверить её в пастыре, перед коим она благоговеет, чтоб ничего святого у неё не осталось... Как у него самого... Есть у порочных людей тяга других растлевать, себе уподобить. Зачем такое зло?

– Бают, что в борьбе со злом человек совершенствуется, – произнёс он с иронией. – А я заметил: зло – это такой случай, когда вместо себя вынуждают страдать других. Если только один я отмучаюсь, то на мне и прервётся цепочка зла.

И в нём замельтешили мысли со смесью воспоминаний, и от привычки к ночному одиночеству он позабыл, что Ли-за рядом. И он вскочил и метался по комнате; он Богу молился вслух, и мнилось гостье, что стенанья священника обращены к ней, и было ей лестно. У неё были странные ощущения: ясный рассудок мгновенно усваивал чужие мысли, но в теле будто вопило нечто беззвучно и восторженно, и тело её в кресле извивалось сладострастно, томясь вожделе-нем ни к Эмилю, ни к священнику, ни к другому мужчине, а к серебристому свету, в котором ей хотелось раствориться. И сопровождением душевных излияний священника звучала в ней музыка, а он молитвенно и с пылом высказывался:

– Господи!.. ведь ты – и мысли неподуманные, и желания бессознательные. Всегда ты, Боже, в наших телах,

но не в рассудке, и потому плоть наша стократ мудрее разума. Цели жизни у плоти порой иные, чем цели, определённые рассудком, и в этом беда. Но появляется несказанное счастье, если цели разума и плоти вдруг совпадут! Но сколь редко бывает это! И что искажает разум? И что делает его извращённым и льстивым? Почему распутством бахвалятся, способности лицемерить завидуют, неблагородство поощряется успехами, а корысть – уважением? Что-то мы утратили в столетях... Иногда кажется мне, что ум подобен огромности ящеров, их непомерная величина спасала их от хищников, но сгубила тем, что не смогли прокормиться их тяжеленные тела. Корма им не хватило... Да ещё юркие зверьки пожирали яйца несчастных чудовищ... Разум уже развился до очень опасных пределов... Хиреет в природе то, что не сопротивляется, но и то сгинет, чему не оказывают сопротивленья... Дерево на голой равнине, не соперничая с лесом, вырастает до огромных размеров, но обязательно гибнет от молнии.

Он опомнился и увидел её в кресле у ночного окна, и она ободряюще улыбалась. И он грузно уселся на диван, и она спросила:

– А почему непременно погибнет всякий, если не будут ни в чём ему противиться?

Она его осчастливила вниманьем к его речам; молодецва-то он подбоченился, и она заметила это. И вдруг ей передалась его нечаянная радость, и Лиза, желая приветить и обласкать его, посмотрела ему в глаза с поощрительной усмеш-

кой. И пока искал он ответа на вопрос её, смотрела она всё ласковой и веселее.

– Я чую, ощущаю... – проворчал он и взъерошил свои космы. – Я просто чую обречённость того, кому не оказывают сопротивления, но выразить мои ощущения словами я, пожалуй, ещё не смогу...

И он развёл недоумённо руками, и почудилось ей, будто порхнуло из неё нечто бесплотное, но сильное, и вспрыгнуло к нему на грудь. Лиза явственно узрела, как его тело вдавилось в диван; она же скребла острыми ноготками свои виски и думала: «Свет шаманский, колдовской...» И опять в ней зазвучала музыка, порождая слова:

– Я плохая, отче, испорченная, но порой я волхвую... Я найдем ощущаю, что если безмерно мне потакать, то сгубишь меня. Цели сознания и плоти у Эмиля теперь очень разнятся, и поэтому он погибнет ночью этой...

И она не понимала, почему она вдруг напорочила Эмилю гибель; наверное, чтоб придать ночи ещё больше мрачной торжественности. Но устрашили Лизу слова священника: «Пожалуй, сгинет именно сегодня», произнесённые весьма спокойно, будто он уже давно предвидел смерть Эмиля и успел отволноваться и отсочувствовать.

И опять она размышляла вслух, и сладко корчилась она в кресле; желанье говорить стало у неё вдруг сродни чувственному влечению...

– Эмиль погибнет, если не нынче ночью, то скоро... После

смерти мамы ощущение вины тяготит меня постоянно. Якобы, случайная гибель мамы – только видимость, а, по сути, – это самоубийство. Мама убила ещё одного человека, чтоб я верила в несчастный случай и не мучилась совестью. Моя мамочка умерла, ибо никто не хотел, чтобы она жила. Она славу стяжала постройками своими, и завистники злобствовали. И мой батюшка обзавёлся любовницей. И поняла мама, что я уже скверная, и мне она, совестливая такая, не нужна больше, ибо она – молчаливый упрёк мне. Я подсознательно захотела смерти моей мамы, и это – моё неискупимое преступление. И мне совсем не легче оттого, что о преступлении моём доселе никто не ведал. Моя вина назойливо меня заставляет вести себя так, чтоб о ней поскорей узнали. И вот теперь я рассказала о себе всё, и сама не знаю: с какой целью? Со мной бывало уже такое: уверена, что цель моя благородная, а затем я понимаю, что нет... А вдруг, отче, и у вас совсем иные цели, чем искренно вы считаете?..

– Сядь-ка ко мне на колени, – внезапно предложил он, и изумлённо она встрепенулась. С опаскою он следил, как медленно встаёт она с кресла и движется к дивану. «По ланитам сейчас мне влепит или же на колени мне сядет?» – гадал священник и жмурился, боясь оплеухи. И вдруг Лиза уселась к нему на колени, и начал он сноровисто и шустро раздевать её, и всколыхнулся в ней протест, и она, вспоминая себя малюткой за роялем, швырнула грузное тело на пол. Священник захрипел натужно, и неспешно она оправила одеж-

ду. Затем Лиза пошла в соседнюю комнату к раскрытому роялю и села за инструмент. В этой комнате было почти темно, лишь свет из гостиной проникал в распахнутую дверь; за роялем слышала Лиза, как священник, кряхтя, залез на диван, и страшно ей было глянуть на любовника. И всё-таки она посмотрела: его серый костюм серебрился, сорочка голубела, а шевелюра и борода были растрёпаны. «Измождённая кляча с душой чумазой», – подумала Лиза о нём. И вдруг она ощутила и его отчаянье, и своё безмерное одиночество, и она ринулась к пастырю, и он ухарски повалил её на диван, и она сучила ногами, пока не стала страстной...

Затем, оставив её на диване, он погасил свет и мыкался в белом махровом халате по комнате. Остановился он у окна и посмотрел в ночное кладбище. Размышлял он о том, что Лиза смертельно истощит ласками его квелую плоть. И думалось ему, что истомило его бессознательное стремление к смерти, и поэтому для ускоренья своей кончины он спутался с Лизой.

И он ощутил последний всплеск воли к жизни. И начал он мысленно уповать на то, что не пожелает Лиза играть уготованную роль и бросит его. И он будет жить!.. Разве не понимает Лиза, что любой талант непременно иссякнет и сгинет, если ласкать того, кому желаешь смерти? Но ведь гибнет талант вместе с телом, коим он владеет. И сама Лиза начнёт бессознательно искать смерти...

И он бранился и бормотал в ночное окно:

– Эмиль непременно погибнет: с ним уже случилось необратимое... Как и со мною... Из зыбучей пучины не выкарабкаться... И с тобою, Лиза, случится такое... С какой усладой рушили у нас храмы и оскверняли кладбища! Сам-де похабный, так и прочих измызгаю. А всё дело в желании власти, она – биологическая потребность. Но нельзя властвовать людьми, если их цели не сродни твоим. Не дано негодю властвовать над честным мыслителем... От чего зависит цель жизни? От ранее совершённых поступков!.. Ведь я, поступая в семинарию, воображал наивно, что все мои сомнения в религии рассеют изошрёнными доводами, и объяснят, и истолкуют противоречия, и тогда вера моя станет незыблемой. Но не было ничего этого. Меня влекли на молитву, будто я уже проникся глубочайшей верой. Принуждали меня к жизни, оправданием и смыслом которой был только Бог. Без веры в Бога такая жизнь невысказана, непосильна... И хотя поначалу в попы я лез ради безбедной жизни, и не был я в вере твёрдым, но в семинарии уверовал истово; цель моей жизни привиделась мне в служении Господу. На последнем курсе вовлекли меня во грех, и цель моей жизни изменилась: стала низменной и пошловатой... И с тобою, Лиза, произойдёт такое, и перестанешь ты любить себя... Все властелины желают того, чтобы каждый из их подданных перестал себя любить... Припомни знакомых распутниц: разве они любят себя? И разве не понимают они, что им надо изменить свой образ жизни? Но всё ниже под кручу катятся они, ибо теперь

они – рабыни тех, кто лишил их себялюбия... И ты будешь моею рабою, перестав себя любить...

Но она почти не понимала его слов, ибо они были невнятные... И ей показалось, что он пренебрегает ею...

– Иди же ко мне, отче, – позвала она жеманно и гневно, и он поплёлся, шаркая, к ней. И позабыл он в истерической страсти смысл недавнего своего лопотанья... И вдруг оба они совершенно позабыли свои речи, мысли и чувства этого окаянного вечера; в памяти сохранилась только бездушная и голая канва сегодняшних событий...

Воронков, оцепеневши, лежал с Мариною в постели в самом роскошном покое казённой дачи. Было в покое четыре комнаты: гостиная, столовая, кабинет и спальня. В гостиной преобладали оттенки серого цвета, в гостиной – голубого, в кабинете – коричневого, а в спальне – золотистого; мебель в покое была увесистая, на стенах – зеркал во множестве, посуда – из старинного фарфора и серебра. Никто не смел в этом покое жить, кроме покровителя Воронкова и иных очень важным сановников.

Воронков, сонно моргая, включил ночник над кроватью, и рассеянный жёлтый свет озарил опочивальню. Марина лежала на боку спиной к начальнику, волосы её были распущены, а краешек одеяла покрывал только её бёдра. Было Воронкову и сладостно, и тревожно; приятно оттого, что, наконец, осмелился он вселиться в чертоги своего дряблого и тучного покровителя, и никто из слуг на даче даже пикнуть вопреки не дерзнул, но и пугала вероятность доноса об осквернении апартаментов. Прислуга на даче провокаторски спросит покровителя: не забыл ли вещи здесь прежний жилец? «А кто последний опростал покои?» – хмуро осведомится покровитель Ртищев. «Намедни Воронков ночевал», – донесёт челядь. «И с кем кувыркался он, и кто баюкал его?» – заинтересуется вельможа. «Известная вам Марина», – ему от-

ветят. «Так, так...» – проворчит сановник и призадумается, и не известно, какой оборот примут его мысли. Ведь покровитель может взбелениться от ревности и турнуть по барской блажи Воронкова с должности.

Возможно, припомнит его покровитель свои ночи с Мариной и возревнует. Ведь Марина явно уже бывала в этих покоях: она сразу раскрыла потайной бар в гостиной. И с кем пиновала она здесь, если не со Ртищевым?! А вдруг всё это подстроено врагами Воронкова, чтоб покровитель его разлюбил? А если Марина заодно с этими врагами?..

Спящая Марина вдруг шевельнулась, и одеяло совсем с неё сползло; он тарачился на её голую спину, и внезапный ужас обуревал его...

Ей было едино: подавать ли бумаги на подпись, потчевать ли чаем с халвой и булкой, ласкать ли хозяйскую плоть. И всё это добросовестно и умело. И теперь за такое её качество он трусливо восхищается Мариной и попробует отныне ей подражать. Но ведь всегда подражал он только своим начальникам, а никак не подчинённым. Неужели Марина обрела власть над ним?.. Какая чушь!.. ведь ему принадлежит Марина со всеми потрохами... Но лишь в явной, официальной иерархии!.. А ведь есть иерархия тайная, в которой он, вероятней всего, подчинённый Марины. И когда же оказался он в тайной иерархии? Неужели сегодня утром, когда усадил он Марину к себе на колени и прильнул губами к кружевам её белья?..

И осознал он, наконец, почему он долго себе не позволял соблазниться ею, хотя не нужно было для обладания ею ни подарков, ни лести, ни ухажёрства, даже самого лёгкого флирта не требовалось, а просто – хватай и волочи в кровать... И оказалось, что обладание Мариной означает для него утрату своей воли; теперь он уже понимал, что бессознательно он пытался избежать этого. И открылось ему, почему он прежде не изменял своей любовнице Кире. Ещё сегодня утром он благостно уверял себя в том, что причина его верности – любовь. Но почему ему постоянно нудилось уверять себя в этом? Ведь он не думал о причине своей верности любимой жене в первые годы их супружества. Тогда его верность была естественной, и прочие женщины не прельщали его. А вот изменить Кире порой ему очень хотелось, и, значит, не от великой любви к ней не взял он себе ещё одну наложницу. Его верность Кире оказалась сопротивлением преступной тайной иерархии. Слабой и робкой, но строптивостью...

Он погасил ночник и, потев, улёгся на спину; вспоминая оргии, прозревал их подлинное назначенье... Каждая порочная щеголиха знала заранее, кому она предназначена. Запахи вин и косметики, медленные танцы с откровенными ласками, хмельная дрожь уединений... И мужчина, опытный и лощёный, понимал, конечно, что растленная красотка, хоть и ласкает его, но человеком его не воспринимает, ибо ей безразличны его мысли и чаянья. Даже тело его, ко-

торое сопит, шиплет и лапает, воспринимается ею не более чем тухлой и рыхлой тяжестью... Смирясь с таким отношением к себе, человек постепенно становился только телом и в дальнейшем поступал, как животное... Вот его тело и мозг, но где же он сам?..

Лёжа на спине, он почесал ногтями виски, и ему показалось, что он сходит с ума. Дыханья Марины не было слышно, и он захотел её смерти. И вдруг он забормотал некие слова и прислушался к ним. И оказались они словами жены:

«Мне ли принадлежит мой талант, или же я ему?..»

И вспомнилась ночь, когда жена в его присутствии тихо спросила об этом самое себя...

Господи, сколь правда о себе страшна!.. Ведь он, Олег Ильич Воронков, сейчас пожелал смерти женщины, чтоб только не узнать о себе жуткую правду. Умри Марина теперь, забылся бы он в хлопотах и не мучился бы мыслями. В его сознании мечется блистающая точка, и грозит она взорваться и озарить мозги истиной, от которой в муке будет корчиться тело. Вот и вихляет разум в попытке загасить слепящий огонёк... Но тщетно... напрасно... Огонёк жжёт, и никак его не потушить...

Имеется грань, за которой лишь нелюди... И поэтому каждый постоянно поправляет и наказывает себя, ладя с совестью, отдаляясь от жуткой грани... И разве с ним, Олегом Ильичом, не бывало этого? Но были им совершены такие поступки, за которые уже нельзя оправдаться перед самим со-

бою, и перестал он любить себя... И, право, за что ему себя любить?.. Как сегодня он вёл себя с Мариною здесь, на даче?..

В темноте он расслабился и смежил веки. И почудилось ему, что внезапно весь мир озарился, ибо необычайно яркими оказались воспоминанья о минувшем вечере...

Марина была барственной, и он почти заискивал перед нею. Она уверенно ввела его в господские хоромы. За ужином усердно прислужил белобрысый худосочный лакей в чёрном фраке. Пока она заказывала лучшие блюда, закуски и вина, начальник её опасно и преданно в глаза ей заглядывал, на стуле елозил и деликатно в кулачок покашливал: вот, дескать, я здесь, любезная, и хочу я тебя страстно, но ведь ты важным делом занята, и я терплю, не докучаю... Воронков за едою острил весьма пошло и, понимая это, клял себя за кривлянье. И Марина, и лакеи в белых галстуках, и чинные горничные воспринимали шутовство его, как должное, не выказывая ни досады, ни удивленья. «Ну, хорошо, ладно, – подумалось однажды Воронкову, – я веду себя пошловато, и не смеет лакей-хлыщ порицать гостя, иначе попрут его с этого места. Но неужели Марина от меня не ждёт ничего более умного? Или, возможно, ей совершенно безразлично, каков я? А ведь семя моё падёт в её лоно...» А если б он, Олег Ильич, вместо пошлятины изрекал бы мудрейшие истины? Неужели он и тогда увидел бы её безразличные улыбки и услышал бы её равнодушное согласие? Неуже-

ли Марине безразлично, какой он человек?.. Порою Воронков супился и мрачнел, но от этого не становилась она ни веселее, ни печальнее. И захотелось ему говорить гордо, иронично, веско; он мечтал крушить вазы, зеркала и кувшины, чтоб его воспринимала она личностью, а не одним только телом. Он воображал себя яростным и орущим, не надеясь, однако, что наяву он станет с нею таким. Рассудок его трудился вхолостую и к поступкам не нудил...

И теперь в постели с осоловелой Мариной он многое уже понимал, но какой от этого прок? Всё равно, он будет отныне поступать так, будто мысли эти не и возникали; теперь он безволен и подобен снасти на потребу тем, кто лишил его самоуважения и любви к себе...

Спящая Марина шевельнулась, и ладонь её вползла на его горло; и вздрагивал он боязливо и страстно, скребя ногтями свои ляжки...

В сознании сонной Марины была полная тьма, и вдруг появились в нём яркие искорки, и тело вздрогнуло. Просыпаясь, Марина поняла, что это – дрожь удовольствия. Марина уютно лежала на боку, и пульсировала под её пальцами жилка на мужском горле. Но не помнила женщина, кто с нею... Она бессознательно пошарила вокруг себя в поисках одеяла; ей не было холодно, но захотелось прикрыть наготу. Но затем показалась стыдливость и зряшной, и глупой.

Марина вдруг ощутила свою полную власть над любовником и довольно зевнула. Но кто же он – сегодняшний любовник?.. Ей вспомнилась прогулка в вечернем остриженном саду; мужчина был в коричневом... Но порой одевался в коричневые костюмы и белесый прощельяга-лакей с жидкими волосёнками; неужели с ним она теперь? Такое предположение ошеломило её: неужели до лакея она опустилась? Но вскоре она припомнила, что, наконец-то, она совратила своего начальника, и тело её пронизала радость...

Вельможи-любовники обычно её не стеснялись, не оказывали ей такую честь, и были они бесстыдны с Мариной до крайности, будто она мёртвая. И такое обращение вызывало у неё протест, скрываемый тщательно и умело. Но сегодня впервые не ощутила она протеста, и вдруг ей поверилось, что отныне все любовники будут в её кабале.

Марина думала, но мысли её в памяти не запечатлелись...

И что у неё порождало протест? Неужели умаление свободы? Пока был протест, была и толика свободы... А теперь Марина готова на любые извращения и подлости, она признала себя рабою. И после того, как не осталось у неё никаких нравственных самозапретов, появилось ощущение власти. Но можно ли быть властителем, не будучи рабом своей власти?.. Разве способен на тиранию истинно свободный человек?.. И что такое свобода? Ужели возможность выбирать между добром и злом? Ведь и разбойники порой добро творят, и тем доказывают себе, что они свободны. Благотворительность богачей – для ощущения свободы... И добряки ради того, чтобы чувствовать себя свободными, порой совершают зло...

Но такие мысли из памяти Марины почти мгновенно стёрлись...

Её напряжённое тело расслабилось, она включила ночник и в жёлтом свете посмотрела на любовника ласково и хищно. Вспомнилась ей соседская чёрная кошка-крысоловка. Марина, мурлыча, оскалилась в улыбке, потянулась томно и плавно и стала обострённо воспринимать действительность: заметила и пыль на ночном столике, и румяна на подушке, и сивое пятно на золотистых обоях, и нервозность Олега Ильича.

– Ретивый затейник, – пробурчала Марина, – буду пылко тебя лелеять.

И он целовал её запястье, и она заметила неестественно-зеленоватые отливы его ногтей. Она, усмехаясь, описывала ему смачно извращения, на которые была готова ради него, и он даже дивился: откуда ей такое ведомо? И он облизывал сухие губы, и дыхание его спиралось. Он ощутил её странную власть над ним, хотя Марина твердила о своей благоговейной покорности ему и клятвенно обещала посвятить всю себя его уладам. И чувствовал он, что стерпит Марина любое его надругательство, но и в себе заметил он готовность быть покорным ей во всём.

И она его упросила продать ей за бесценок казённую дачу около степных курганов, и вновь захотелось ему всё осквернить, а в его сознание пробивались обрывки новых мыслей...

«Только свободные люди могут себя любить. И зависит сила такой любви от степени свободы. И каждый стремиться обрести большую свободу, нежели окружающие. Это закон природы, как и любовь... Но как человек, уже признавший себя в мыслях своих рабом, может обладать большей свободой, чем окружающие? Только обрета власть над ними. И поэтому он карабкается к господству. И начинает он низводить других до степени своей духовной неволи, будя в них инстинкты стада и стаи. И порою, он осознаёт, что, ненавидя себя, делает он очень многое для озлобления на него других людей...»

А Марине вдруг подумалось:

«А разве можно, сохраняя свою человечность, управлять-

ся с теми, кто утратил её? Могла б и раньше я занять власть над хахалями-вельможами, да только я не позволяла им себя до конца измызгать. Остатки человечности и стыда не позволяли мне соглашаться на всё то, чего домогались они. А теперь на всё я готова, вот во мне и появилась уверенность в моём праве на власть. И уверенность эта покорит мне других, ибо я отныне обладаю готовностью идти ради власти на большие преступления, чем кто-либо другой...»

И она услышала брюзжанье его о лакеях, и он приник к ней. И после очередного извращения все их мысли и чувства этой ночи исчезли навсегда из памяти обоих. И казалось им духота осязаемой и липкой...

Лиза очнулась на перине в тёмной опочивальне после ярких сновидений; священник неподвижною тушей возлежал на спине рядом, и духота была пряной. И Лизе вдруг подумалось:

«Порою мысли, как сны: они возникают, но не упоминаешь их...»

И захотела она вспомнить свои сны этой ночи...

Сначала вспоминались сны красным студнем, а затем из мути проступили тела с янтарным отливом. Тела копошились и стравливались, а муть рассеивалась и розовела... Лиза вдруг осознала, что она приснилась себе совсем не такой, какой она привыкла себя считать.

Она перевернулась на спину и широко раскрыла во тьму глаза; полыхали в сознании Лизы пёстрые огни воображаемых сцен. Воображала она кабацкие ночи, домашние игры на фортепьяно, юнцов, вождедеющих к ней, и священника в саване. Затем воображались ей только оргии, и дерзко впирались в них священник в саване, мешая удовольствиям. Потом её сознание наполнилось рыже-алой мутью, сквозь которую проступила раздробленная голова нахрапистого попа.

И Лиза наяву коснулась его головы и, оскалась, отдёргнула свою руку, ибо чудилось, что пальцы липкие. «Неужели сочится кровь, – будоражилось в Лизе, – а если вдруг я башку

ему расколола в безумии, и меня теперь в тюрьму законопатят?..» И Лиза принудила себя щупать его череп, и, теребя потные, липкие космы, она успокоилась. «Странно, – подумалось ей, – ведь твёрдо я знала, что он ещё живой, и вдруг я панически устрашилась тюрьмы за проломленную голову. Неужели я боюсь своей готовности убивать людей?..»

Она положила руку на его живот и ощерилась, ощущая готовность извести любовника. И чудилось ей, что остатки сил священника через её пальцы на его животе перетекают в её тело и питают нежно-порочного зверька с пахучей дурманной шерстью. И Лиза, ухмыляясь, вообразила, что её голое белое тело покрывается сероватой шерстью, а изо рта начинают выпирать клыки. Она, не спеша, легла на священника и стала, урча, покусывать его горло; язык её брезгливо вздрагивал, касаясь жёстких волосков. Священник хрипел, но не просыпался; хрип его воспринимался ею мольбой о пощаде. И вдруг он утих, дыханье его обесшумилось, и она гадала: дрыхнет он или нет? Он же, неподвижный, молчал, и она опять слегка укусила его горло, и ни звука, ни шевеленья в ответ. А если не спит он и ждёт, чтобы она укусила его сильнее или даже совсем загрызла?.. Какая странная мысль!..

«И совсем мысль не странная», – подумалось Лизе, и в её сознании замелькали искры, которые, сгущаясь, сливались в блистающее пятно. И замелькали в этом пятне сцены отношений её со священником...

Всё сильнее она прижималась к нему, и патлы его щеко-тали ей лицо, и уши её ловили его дыханье. И вдруг Лиза невольно задышала в такт с дыханием попа. Она восприни-мала себя хищным зверьком с клыками и шерстью. Затем на-чала Лиза воображать себя бородатым и грустным священ-ником. И опять в памяти её замелькала история связи с ним, но теперь уже увиденная его глазами...

С ним она в ресторане, в отдельном кабинете, и для попа несомненна редкая одарённость её. И хоть перед ним она вся в чёрном, но заметна в трауре нарочитость, ибо в искреннем горе не шляются по ресторанам. И он бессознательно чувствует её тайную сущность. И его манят свежая плоть и фальши-вый траур. Особенно влечёт фальшь. Именно сочетанье ода-рённости и фальши делает юную пианистку пригодной для его тайной цели. Сколь огромные деньги он сулит, и ведь го-тов он заплатить обещанные суммы! И он зачем-то сказал о своей скорой смерти! И он бахвалился богатством своим! Неужели он всё сделал для того, чтобы она соблазнулась по-скорей его уморить и унаследовать его имущество и капита-лы?..

И вдруг Лиза ощутила его тогдашний ужас...

Она села на постели, касаясь пятками ворсистого ковра на полу. Вспомнила она свою первую ночь здесь: тогда под иконой горела лампада, а теперь кромешная тьма. Почему же лампада не освещает лик Христов? Возможно, забыл свя-щенник масла подлить. А просто так ничего не забывают.

Наверное, страшно ему глянуть в очи того, кто после смерти будет ему судьёй?.. Изнурительная ночь намного приближает смерть священника, и он не хочет напоминаний о скорой каре Всевышнего. Поэтому и позабыл поп-греховодник добавить масла в лампадку, а, заметив это, будет он верить, что забыл нечаянно. И будет нечаянно забывать и впредь...

Она в себе многое не понимает. А если и она бессознательно влачится к какой-то страшной цели, как и священник? Почему же она, ревнуя Эмиля, начала вдруг беситься тем, что не осквернит он глупую богомолку, и та не станет блудницей?..

Священник шевельнулся неуклюже, и кровать заскрипела. Лиза во тьме подумала: «Неужели мне будет приятно, если богомолка скверностью уподобиться мне? И почему я сама согласна быть блудницей? Неужели ради власти над сущим этим попом?..»

Священник опять шевельнулся во мгле, и Лиза посмотрела искоса в его сторону. Он, вздыхая, схватил её за плечи и принудил лечь. Ей захотелось кулаком садануть его в солнечное сплетение, под дых, и она утрюмо молчала; священник взасос целовал её в шею возле кадыка. Пробили большие напольные часы: был час до полуночи. И Лиза тихо велела:

– Принеси мне винца ледяного, шипучего... у меня – жажда...

И он поднялся с кровати и нашарил ногами шлёпанцы. Затем облачился он белый шерстяной халат и зашаркал на кух-

ню, оставляя двери анфилады распахнутыми; в соседних комнатах зажигал поп свет, и спальня слегка осветилась. Возвращался он с серебряным подносом с двумя хрустальными бокалами и бутылкой красного вина. Двери оставались распахнутыми, и свет в комнатах не был погашен. Поп остановился в дверях и заслониł собою свет из соседней комнаты. В спальне потемнело, и только на постель падали узкие полоски света. А священнику вдруг померещилось, что именно из тела Лизы ореолом излучается свет.

Священнику в дверях захотелось повалиться на колени, руки его тряслись, а хрусталь на подносе дребезжал и звякал. «Неужели безумие?.. – мельтешило в его мозгу, – ведь не может она излучать свет: чай, не святая... А коли сиянье – дьявольское?..» И детские суеверья всколыхнулись в нём. Он натужно доковылял до ночного столика и поставил на него поднос; затем повернулся к иконам в углу и размашисто перекрестился. Потом снова привычно коснулся он щепотью лба, возвёл глаза и вдруг заметил, что лампада погашена. «Да как же я запомнил масла подлить?..» – озадачился он и не довершил крестного знаменья; правая рука бессильно упала, и он тяжело присел на постель. Он посмотрел на свои дрожащие пальцы, и вдруг он услышал приятный хрустальный звон и глянул на Лизу: она, полулёжа, разливала из бутылки по высоким бокалам красное вино. Священнику казались более красными, чем в реальности, и вино, и лак её ногтей, и сосок на груди, и нервно изогнутые губы. Лиза красо-

валась своей наготой; густые золотистые волосы разметались по её спине и груди. Разлив вино по бокалам, она протянула один из них священнику, и вдруг ощутила она дрожь своего лица. Он неподвижно пялился на протянутый ему бокал; её лицо, искажаясь, дрожало всё сильнее. Затем дрожь её лица передалась телу, и вот уже дрогнула рука, державшая бокал, и тёмные капли упали на простыню. Лиза нервно и рассеянно хлебнула из бокала в тот самый миг, когда священник, наконец, потянулся неуклюже за вином. Священнику показалось, что она дразнит его, и он обиженно охнул; под его вздохи расплескала она остатки вина себе на грудь, а затем поставила на поднос пустой бокал рядом с наполненным. Лиза смотрела на священника: он стоял на кровати на карачках, готовый ползти; на него падал свет из смежной комнаты, шерстяной белый халат мерцал, а рыжие кудлы пламенели. Священник озирался на тёмные винные капли на постельном смятом белье и двигал челюстью... И Лиза его ткнула пяткой в лоб. И болезненно сморщилось его лицо, и, всхлипывая, смотрел он виновато в её глаза. Она вспоминала большого белого пса с рыжими подпалинами, который, нашкодив в парке, виновато смотрел на строгого хозяина с прутом для сеченья. И подумалось ей, что могла бы она высечь попа, как боярыня крепостного холопа. И вообразилось ей, как она в голубом халате с искрою стегает кнутом голого попа на конюшне, и зябко накрапывает дождик...

Обеими руками вцепилась она в его космы и дёрнула их

на себя; он подался к ней и припал влажными дряблыми губами к её бедру. И она, брезгуя его лобзаньем, загнала левую руку попу за воротник и заскребла ногтями жирную спину; правой терзала своё колено... Со стонами он целовал её бёдра; ей хотелось убежать, но она лишь сильнее царапала его податливую плоть. И вдруг Лиза сообразила, что теперь она готова на очень многое ради власти его мучить... Но ведь за власть нужно платить покорностью тому, кто наделяет властью... А если добровольно кто-то лезет под ярмо или в колодки, так неужели и ему за это нужно заплатить покорностью?..

Озадаченная Лиза всё яростней драла его спину, и он не противился. И в это его покорности была жуткая власть. И чем был он покорнее, тем сильнее Лиза гнушалась собою...

Влажный рот на её бёдрах породил у неё ощущение осквернённости, но не мучительное, как прежде, а приятное. И чем сильнее Лиза собою гнушалась, тем было ей приятнее. И не осквернённость была ей приятна, но власть, которую Лиза получила, утратив стыд и позволяя себя осквернять...

И подумалось ей об Эмиле. Если он завтра придёт к ней, то она чопорной не будет и уступит всем его домогательствам... А священника нужно до нитки обобрать, и глупо с этим медлить. Ведь уже ей пора обретать полезные повадки и копить ценности...

Она, босая и обнажённая, просеменила в комнату, где хра-

нилась коллекция, и вернулась с панагией на золотой цепи; сгая перед попом, надела реликвию на шею; улеглась рядом с ним и процедила томно:

– Эту вещицу подаришь мне... Ты – моя жирная оригинальная звезда... И не вздумай мне отказ бубнить. Бодни в знак согласия башкою...

Вопреки своей воле он закивал согласно; затем супился он, жалея ценную вещь, но не посмел возразить. Он поцеловал её упругий живот, она же алчно и хищно созерцала драгоценность и размышляла:

«Задорный он старикашка! И откуда у клячи этой прыть берётся? А вдруг его силы берутся от бессознательного хотенья быстрее помереть, изнунив телеса страстью? Взрыв возможностей, чтоб истощились они поскорее... Природа мстит ему за что-то... Из какого гадючьего яйца, из какой скорлупы смрадной вылупился он, бескрылый сей птенчик? И кто его выпестовал, такого тошнотворного?.. А ведь его судьба – чрезвычайно поучительна для меня...»

Лиза сучила ногами, желая прервать поток мыслей; и вдруг обомлела она в раздумьях:

«Но ведь природа и мне отомстит... Для свободы я рождена, но теперь раба. И стала рабою в упованьях на власть... И есть у меня потребность любить себя. Но себя любить можно, только будучи свободной. И чем у меня больше свободы, тем сильнее и любовь к себе. Но я теперь могу чувствовать себя свободной, только угнетая других. Для угнетенья и нуж-

на власть. Но чтоб добиться покорности от кого-либо, нужно его наделить властью. Людей покоряет не страх, но упование на выгоду... Я могу за покорность мне наделить властью надо мной, и это праведно. Но, Господи... ведь неправедно за покорность мне давать власть над другими людьми, ибо всегда это сопряжено с насилием... А может, необходима власть лишь для того, чтоб чувствовать себя нужной? Если покоряются мне, то, значит, я нужна... Но отныне я нужна лишь как плоть, а не личность. И скоро постареет тело... Наверное, это и будет мезью природы за мой промотанный, растраниженный дар. А ведь мой дар, в отличие от плоти, мог бы меня сытно кормить до глубокой, дряхлой старости...»

Измощённый священник, пыхтя, прижался к ней, и в её памяти из эмоций, подробностей и мыслей этой ночи сохранилось только его покорное, безропотное согласие отдать драгоценную панагию...

В своей городской квартире Кира лежала в постели при золотистом свете ночника. На Кире была алая сорочка до пят, в спальне было душно. И Кира вдруг решила, что Воронков обязательно ей изменит этой ночью на казённой даче в горном ущелье.

И по телефону возле постели позвонила Кира на эту дачу и спросила Воронкова. И знакомый ей голос белобрысого лакея учтиво уведомил её, что Воронков уединился в спальне с секретарём Мариной. И слышалось Кире в этом голосе презрительное сочувствие, и она бросила телефонную трубку.

Теперь в постели при золотистом свете ночника вспоминала Кира этого лакея. Отдыхая на горной даче, Кира всегда обращалась с ним учтиво, и между ними возникла тайная приязнь.

И Кира размышляла, что измена ей Воронкова именно с Мариной не удивительна. Пару раз и только мельком видела Кира секретаршу, но сразу постигла наитием, что с Мариной можно мужчине ничем не стесняться. А Кира пока ещё требовала толику уваженья к себе. И было Воронкову это в тягость, ибо уваженье к самому себе он сам уже быстро утрачивал. А Марина уже презирала себя, и было ему с нею, несомненно, гораздо вольготнее. Вернуть его распо-

ложение и приязнь можно было только пресмыкательством перед ним; в противном же случае положение Киры в обществе сильно пошатнётся... И Кире вздумалось уведомить его о том, что она догадалась об его измене, но в его сексуальных фантазиях и шалостях не видит причин для разрыва. И пусть он поймёт из её беспечных речей, что уничижённая им, но верная Кира не станет ему мешать и впредь иметь обилие любовниц...

И снова Кира по телефону позвонила на казённую дачу, и опять ответил белобрысый лакей. Кира его спросила: «Освободился Олег Ильич или ещё занят?» Слуга ответил со смешком: «Сановник сей вряд ли освободится до утра, и намекнул я вам по какой причине». Помедлив, Кира попросила: «А теперь вы намекните ему, что я знаю, с кем он». И голос лакея посуровел: «Но вельможа непременно спросит, а как узнали об этом? Придётся мне ответить, что от меня. И сразу меня уволят». И она посоветовала досадливо: «Солгите». Он усомнился: «Я не смогу объяснить, как мне стало известно, что ведомо вам о нынешней гостье». Кира не нашлась, что ответить лакею, и молчала. И вдруг он хрипло сказал: «Но вашу просьбу я выполню, и наплевать мне на последствия. Ради вас, сударыня, готов я на многое». Она прыснула смешком и молвила с невольным кокетством: «Ради меня, сударь? Но разве я достойна ваших жертв? Если напасти серьёзны – уклонитесь». И уловил он перемену в её голосе и ответил ей в тон: «Вы многих и больших жертв до-

стойны, а эта, право же, не велика. Я хороший моряк, и меня закалили штормы и океаны. Но облыжно обвинили меня сутяги в гибели корабля при урагане у коралловых островов. А после поклёпов мне больше не плавать в зарубежных и наших морях, меня теперь даже на утлый челнок не допустят, поэтому я и запрягся в здешние лямки, в ярмо». После молчанья присовокупил: «Я выполню просьбу вашу, хотя меня уволят. Но частенько я уже мечтаю о сполохе-пожаре в клятом тереме. И радостно мне, что и вы, наконец, решились порвать с окаянной сворой». Кира изумлённо вскрикнула: «Но я не хочу порвать с ними!» «Неужто не хотите?!» – встрепенулся его голос и осёкся. Помолчав, бывший моряк обещал: «Я всё равно выполню вашу просьбу. Теперь я точно знаю, как нужно это сделать. Вы можете даже намекать товарищам, что я только ради вас подвёл себя под увольнение. И ваша ценность, несомненно, возрастет. Не хандрите». И Кира, ликуя, прошебетала: «Я очень благодарю вас», и аккуратно она положила на рычажки телефонную трубку.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.